

ISSN 0012-6756



**Дружба
народов**

6/2021



В номере:

Жизнь после конца света

Роман Марины КУДИМОВОЙ «Поля фильтрации», фрагмент которого мы публикуем, — роман о боли и путях ее преодоления — медицинских и психологических. О непроходящей исторической травме народа, славящегося своим терпением. Время в романе движется не линейно, с перебросами из XIX века в XX, удивляя совпадениями и аналогиями. «Мы вовсе не врачи — мы боль», — знаменитая крылатая фраза Герцена замыкается и на тех, кто считает боль врагом — русских врачей, хирургов и анестезиологов, методом проб и ошибок избавляющих пациентов от страданий, не приносящих блага, разрушающих личность. Но самая продвинутая медицина не может помочь справиться с памятью, главным источником боли душевной. Герои романа учатся жить с этим грузом, сбросить который получается далеко не всегда. Захватывающий сюжет, масштабность времени и пространства, драматические судьбы героев, самобытный язык автора дают ощущение большой русской прозы.

«Пойдешь — не вернешься...»

Так переводится название самого крупного острова Аральского моря — Барса-Кельмес. И это не только метафора. Повесть Алексея УСТИМЕНКО о послереволюционном Туркестане, о Ташкенте, где живет и работает главный герой — писатель и драматург Борис Лавренев, редактор «Туркестанской правды», который пытается найти свою правду «в стычке двух разноокрашенных сторон, в драке белых и красных».

Контур человека

«С великими я дружбы не водил,
Зато водил знакомство с мастерами», —

таким признанием открывается юбилейная подборка Юрия РЯШЕНЦЕВА, известного поэта, автора хитов ко многим фильмам и спектаклям.

И как бы подхватывая эстафету поколений, с дебютными в «Дружбе народов» подборками выходят к читателю новые авторы Ирина КОЛЕСНИКОВА, Анастасия ТРИФОНОВА и Роман СМЕРНОВ — чтобы «пресловутый искать окоём».

Свобода требует веры в бога

Писатель Геннадий ПРАШКЕВИЧ и физик Алексей БУРОВ продолжают обсуждение «вечных вопросов». В эссе «О революции и вязальщицах. Два письма на одну тему» они разбирают актуальные для сегодняшнего дня проблемы — социальные революции, роль и участие в них «простого человека», а также понимание свободы современным либерализмом.

Вся эта история...

«Мы все сегодня пытаемся вычитывать из разных слоев истории, из разных исторических периодов — какой-то свой шифр, ключ к происходящему именно сейчас, на наших глазах...» Такой ключ к современности автор театральной рубрики «Правила игры» Борис МИНАЕВ пытается отыскать, анализируя два премьерных спектакля: «Брежнев против Бэтмена» в Театре на Малой Бронной и «Гроза прошла» в Театре имени Моссовета.

Дружба народов



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

*Основан
в марте 1939 года*

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.04.2021.
Подписано в печать 26.05.2021.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 8356. Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Ольга
БРЕЙНИНГЕР
Ирина
ДОРНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид
НАГИМ

Илья
ОДЕГОВ

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Юрий РЯШЕНЦЕВ. В просодии родной. <i>Стихи</i>	3
Марина КУДИМОВА. Поля фильтрации. <i>Главы из романа</i>	7
Ирина КОЛЕСНИКОВА. Так начинаются слова. <i>Стихи</i>	59
Игорь КУЗНЕЦОВ. Отставший. <i>Повесть про себя</i>	61
Сергей ПОПОВ. Божий карандаш. <i>Стихи</i>	126
Алексей УСТИМЕНКО. Барса-Кельмес. <i>Повесть</i>	129
Микаел АБАДЖЯНЦ. Гвоздь. <i>Рассказ</i>	168
Роман СМИРНОВ. Может быть, мэй би, мабуть. <i>Стихи</i>	178
Андрей ЗАВТУР. Записки таёжного лекаря. <i>Отрывок из повести</i>	180
Джасур ИСХАКОВ. Ночь жёлтой луны. <i>Рассказ</i>	194
Эвелина АЗАЕВА. Полукровка. <i>Рассказ</i>	204
Арина ОБУХ. Свободный переулочок. <i>Рассказы</i>	208
Марк МАРЧЕНКО. ...И пусть остальное добавят потомки. <i>Рассказ</i>	215
Анастасия ТРИФОНОВА. Контур человека. <i>Стихи</i>	222

ПУБЛИЦИСТИКА

Геннадий ПРАШКЕВИЧ, Алексей БУРОВ. О революции и вязальщицах. <i>Два письма на одну тему</i>	225
---	------------

СВЯЗКА РЕЦЕНЗИЙ

Александр ЧАНЦЕВ. Пьеро ди Козимо — собрат де Кирико: дадаизм, импрессионизм и традиционализм	238
--	------------

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

Елена САФРОНОВА. Семейный вальс (М.Москвина. «Вальсирующая»)	247
Дмитрий АРТИС. Осадные орудия (С.Золотарёв. «Линзы Шостаковича»)	251
Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ. Таня и Саша в трипе (С.Сачкова «Люди и птицы»)	253
Елена ЕЛАГИНА. А напоследок я скажу... (В.Шпаков. «Пленники амальгамы») ..	257
Амаяк ТЕР-АБРАМЯНЦ. В поисках корней и истоков (Ингрия — наша родина.../ <i>Составление и предисловие Э.Панкратовой</i>)	260

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. «Резко сняли министра...»	263
--	------------

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Способность вычитывать.....	267
---	------------

SUMMARY	272
----------------------	------------

Юрий Ряшенцев

В просодии родной

* * *

С великими я дружбы не водил.
Зато водил знакомство с мастерами.
Никто из них меня не убедил,
что в сорок лет закат не за горами.
Я возражал, смеясь, не сгоряча,
хотя порой мне было не до смеха,
что и любительский полёт мяча
есть составная счастья и успеха,
и розыгрыш с друзьями озорной,
и горечь от жестокого свиданья —
они свои в просодии родной,
и для чего им наше оправданье?

Они кивали, думая при том:
для нашего труда пропал, бедняга...
Одним ли с ними занят я трудом —
я думал, от мейнстрима на три шага.
Кто прав из нас, и нынче не пойму.
Стою, молчу, понять былое силясь...
А мастера, уйдя по одному,
со мной все перед смертью согласились.

Ряшенцев Юрий Евгеньевич — поэт, переводчик, прозаик, эссеист. Окончил филфак МГПИ (1954). Печатается с 1955 г. в журнале «Юность», где с 1990 г. — член редколлегии. Автор многих книг стихов, в том числе «Високосный год» (М., 1983), «Дождливый четверг» (М., 1990), «Прощание с империей» (М., 2000), «Полное собрание сочинений» в пяти томах (Оренбург, 2015). Известен как автор текстов песен и хитов к спектаклям и фильмам: «Три мушкетёра», «Гардемарины, вперед!», «Забытая мелодия для флейты» и др. Переводил грузинских, армянских, украинских поэтов. Лауреат президентской премии имени Булата Окуджавы (2003), Международной премии имени М.Ю.Лермонтова и др. Живет в Москве.

Лисица

Лисица, живущая на бывшей даче Фадеева,
обегает участки живых писательских дач,
будто ищет приют для грядущих лисят, но нигде его
не находит и тихо скулит от сплошных неудач.

А жить в постоянном соседстве с людьми — это хлопотно.
Люди не обижают, смеются, придерживают собак.
Так жила бы и дальше, вниманием людским избалована,
но, увы, от людей сатанеешь, как от передряг.

И ведь надо бы лисят уберечь от дурного влияния
кошек, хищных назойливых птиц, человеческих ли малышей.
Материнская доля грядёт: терпеливость, внимание,
утепленье норы, эксклюзивная ловля мышей.

От машин недалёкого города на дорогах — пылища.
Ночью легче. Но беременной поиск даётся с трудом.
Да, пожалуй, здесь лучшего детям не сыщешь жилища,
чем забытый забитый случайными досками дом.

В дни минувшего века своей головой светло-серой
здешний барин кивал, одобряя чужие труды,
лисьей хитростью вкупе с простой бесконтрольной верой
обеспечив свой жизненный путь до законной беды.

Снова ищет лисица пейзаж для норы поуютней.
Успокойся, рожай — чем негожа родная нора?
Право, нет в этой местности места дичей и безлюдней,
чем бурьян да пеньки, да от сгнивших ступенек дыра.

На краю России

На исходе пурги,
похлебавши шурпу,
мы в четыре ноги
проложили тропу —
за ветлу, за сарай,
за овраг и — замри! —
потому что тут край
Оренбургской земли.

Там, слышать, новый быт:
ни звезды, ни креста.
Там Европа глядит
сквозь верблюжьи места.
Там в овечью кошму
сон упрятан. И там
непонятно, кому
будет рад Нурсултан.

* * *

Бывало... Да всяко бывало. Что, не жили, будто в потёмках?
Не знал ни потомок о предках, ни предок не знал о потомках.

Неведение людям давало искомую прочность с покоем,
а знанье — крушение судеб и порчу анкет. А на кой им?

Но время не медлит. Округой владеет инстинкт безусловный.
Над птичьим гнездовьем ворона вопит о своей родословной.

Да клён престарелый молчит, молчит одиноко и трезво — почти без ветвей, как оно,
моё родословное древо.

* * *

Шум листвы слышнее шума моря.
Что ж поделать — море далеко.
Наши планы — Господу умора.
До загробной встречи, Шалико!

Никакого нету тут макабра.
Рознь народов наших — просто бред..
Что до смерти, то она лукава:
то ли есть она, а то ли нет.

Вон тюльпан на дорогой могиле
чуть дрожит под тяжестью шмеля..
Сколько б мы с тобой ни хоронили,
разве же разлучница — земля?

Я смотрю, как весело летает
наш пустой гамак на свежаке.
Любопытно, кто там обитает
в этом сумасшедшем гамаке?

Говорят, у вас не стало лета.
Что ж ты смотришь, нищий, как кинто.
Вон чинара: в холод и — раздета.
Кто-то же раздел её. Но — кто?

* * *

Волга как Волга, не шире, не уже.
Небо над бором дегтярно.
Кто это в форточку дышит снаружи
медленно, нерегулярно?
Дуб, на прибрежном взойдя перегное,
взял передышку? Однако
эта луна — словно сердце больное
у августовского мрака.
И на простую оконную раму
с жёлтым раскачанным кругом,
как на опасную кардиограмму,
спутник мой смотрит с испугом.
А говорил, что, мол, ноги немеют,
что, мол, и жить неохота...
Гиблой непознанной прелестью веют
Вареговы болота.

* * *

Что за день, посмотри-ка в окно: ну и ну!
Там смятенье, там шторм, там волна на волну,
а над ними, о Господи, третья волна.
Но ведь море за тысячу вёрст от окна.
Это страсть, не припадок, не мелкий невроз —
эта ярость дубов и осин, и берёз.
Дышат бездной самой эти тёмные рвы
в проливной кутерьме разъярённой листвы.
И зелёные с бешенством катят валы.
И, похоже, колотит стволы о стволы.
И вверху электрический мощный заряд.
И воронье гнездо вдруг из куч — как снаряд.
Вот и явная жертва стихийного зла...
И, насытаясь, стихия на убыль пошла.
Через час я пройду, всё дивясь, что живой,
под безмолвной — без волн и без молний — листвой.
Жёлтый лист на помятом блестит цветнике,
Словно крупный янтарь на прибрежном песке.

Марина Кудимова

Поля фильтрации

Главы из романа

Сальпетриер

I

Чуть нос высунешь во двор, сразу:

— Повитель! Повитель!

Как это клички прирастают к людям? И почему «повитель»? Наверно, из-за кучеряшек, которые выбивались из свежезаплетенных кос и разбегались по лбу и лицу.

У мамы на Юлины волосы терпения не хватало, и тогда она шлепала Юлю по голове «ежовой» щеткой с металлическими зубцами. Зубцы забавно было вынимать из резиновой подушечки и вставлять обратно. Когда мама застала Юлю за этим занятием, ор был нещадный:

— Остригу наголо!

Уж остригла бы, чем так мучить! Но ежеутренние пытки с выдиранием целых прядей не прерывались.

— Больно! Больно! — верещала Юля.

— Не больно! Не больно! — пререкательно вопила мама.

Когда ее ссылали на Проспект Труда, начиналось раздолье. Тетя Ната плести косы вообще не умела, звала на помощь Михневых. Они приходили всей семьей — двойняшки Оля и Элька, Юлины ровесницы, старшие — Колька и Шурка, бабушка, которую никто иначе не звал, дочь бабушки и мать всех остальных — Евлалия Захаровна. Она чесала Юлю лучше всех, но после ночной смены долго спала, и Юля по три дня ходила нечесаная, чему только радовалась. Нет, лучше всех чесала бабушка, но она взяла — и умерла. С тех пор Юлю отправляли на Проспект Труда при каждом удобном случае, а с тех пор, как Юля пошла в школу, удобным случаем стали каникулы. Тетей Ната приходилась маме, а не Юле, но звать ее так выпало Юле. Муж Липов звал ее НАТО. А мама — Натудей, вот что странно.

Кудимова Марина Владимировна — поэт, переводчик, публицист, литературовед. Родилась в Тамбове, там же в 1973 году окончила пединститут. Печатается с 1969-го. Автор нескольких книг стихов. Лауреат ряда литературных премий. Живет в Перedelкинe.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 1.

У тети Наты Юле чем-то нравилось, чем-то нет. Она ужасно боялась Натаино мужа с нечеловеческим именем Никандр Никанорович. Евлалия Захаровна тоже не подарок, но тетя Ната окликала ее Лалей, и это действовало умиротворяюще. Муж в домашней обстановке, впрочем, звался Никой, что не мешало страху заполнять Юлин мочевого пузыря. Как только Ника свешивал к ней моржовые усы, Юля ощущала нестерпимый позыв к малой нужде, и пару раз опростоволосилась в этом направлении.

— Фу, пискля, — сказал Никандр Никанорович, когда у Юли потекло по голым летним ногам. Хотя писком казус не сопровождался по причине онемения.

Он долго потом не подходил и не свешивался, что Юлю устраивало. Но писклю не забыл.

В маленький город, где торжествовал Проспект Труда, Юлю везли из большого, находившегося поблизости, на медленном поезде с твердыми ребристыми сиденьями. Поезд останавливался четыре раза и стоял дольше, чем ехал. На одной из остановок параллелил вагонам забор с колючей проволокой и вышкой с солдатом. Юля ему всякий раз махала — не забору, конечно, он не отвечал и не шевелился. Юля думала, что сюда переселили оловянного солдата. Ее эта мысль радовала. Значит, он не расплавился в огне.

Никанор Никанорович — нет, наоборот, Никандр Никанорович ее специально не пугал. Но, свешиваясь, задавал коробящие вопросы:

— А что ты, любезная, думаешь о политике лейбористов?

Или:

— А не приходило ли тебе в голову, малютка, что узкие поля «Арифметики» Диофанта, на которых якобы не поместилось доказательство теоремы Ферма, лишь предлог, и на самом деле доказательства просто не существует?

Он никогда не сажал Юлю на колени, а дядиСерёжиных сыновей всегда сажал и подбрасывал. Она подходила и пыталась пристроиться, но моржовый Ника ее отгонял:

— Пискля-а, — тянул он брезгливо. — Отойди! Тут мальчишки играют.

Однажды она закапризничала от такого неравенства, тогда Никандронович раздул усы и произнес ужасную гадость, от которой она долго просыпалась ночами и плакала:

— Шebуршишка-пискля,
За спиной хвост трубой,
Язычок через плечо,
Рожки маленькие.

Последнее слово он противно и визгливо растянул: «мааааленькие». И Юле все снилась и снилась эта шebуршишка с рожками и язычком.

У Ники был ненастоящий сын Володя, который никогда не играл вместе с дядиСерёжиными Гешкой, Гошкой и Васькой. Иногда пытался присоединиться, но усы Никандра-Никанора начинали так шевелиться, словно собирались отделиться от губы и схватить Володю за палец. Гешка, Гошка и Васька Юлю от дворовых защищали и обзывались «повителью» совместно с ними. А ненастоящий Володя защищал, кирпичами и палками кидался. Он был старший и походил немного на старичка, будто от Ники своего заразился. Учился в ремесленном, но хотел стать художником. Сам говорил. Его Никанордр нашел в детском доме и никуда от себя не отпускал.

— Сбеги от него! — как-то велела ему Юля.

— Много ты понимаешь! — сказал Володя загадочно и добавил: — Пискля!

Юля отпрянула и больше не подходила. Он ее предал повторенным чужим

словцом. Одевался Володя, как солдат на вышке, только черного цвета, и тетя Ната сравнивала его с реалистом. Что еще за реалист такой?

Дядя Серёжа был летчик гражданской авиации. Тут Юля обладала необходимым знанием. Авиация — это самолет. Ей думалось, потому «гражданская», что граждан переносит по воздуху с места на место. Она очень хотела бы попасть в самолет — хотя бы на земле, и когда дядя Серёжа выпивал, — а это каждый день, он обещал ее взять в кабину и посадить за штурвал. Штурвал Юля представляла. Это руль — такой же, как в дядиСерёжиной «Победе», только без бибикалки — бибикать в небе нельзя, да и некого предупреждать. Птиц, что ли? У дяди Серёжи тоже была форма, красивая, темно-синяя, но в отпуске она в коридоре висела на вешалке.

У тети Наты болели ноги, и она всегда сидела на кухне и стряпала. Не только на «ораву», как она прозывала летних родственников, но и на гостей Ник-Ника.

— Ника! Ника! — каждые полчаса взывала она из кухни. — Иди попробуй. Кажется, недосолено.

Юля время по часам еще не разбирала, но ей казалось, что «каждые полчаса» — достаточно часто. Никанодор выходил в полосатой текучей пижаме, немного шаркая, из комнаты, где он всегда занимался с Володей, — в ремесленном, по-видимому, задавали на дом больше, чем в школе. Тетя Ната дула в ложку, он наклонялся и с осторожным присосом пробовал.

— В меру, матушка, в меру, — говорил. — Недосол на столе, пересол на спине. Сальпетриер у твоих ног. Ты нам не мешай, мы с Володей занимаемся.

— Знаю я, чем вы занимаетесь! — вызывающе говорила тетя Ната.

Никанорд ее осаживал:

— Молчи, НАТО! — и ушаркивал в таинственную комнату, куда никому не разрешалось проникать.

Сальпетриером он по-чудному нарек городок, который носил имя героя гражданской войны. Вообще Ника был большим чудачком. У тети Наты руки до Юли не доходили, и она целый день околачивалась во дворе или у Михневых, в том же дворе, только за низенькой отдельной оградкой. Кормили ее и там, и там, а менять трусики и носочки она поневоле научилась сама, так что проблем не испытывала. Оля и Элька дрались до крови, Колька и Шурка их подзадоривали, а то и приобщались, Лаля просыпалась, разнимала и разводила по углам. Элька, порывав, шла просить прощения, а Оля — никогда. От этого Юля чаще общалась с Олькой, хотя нравилась ей больше Элька. Лаля заново засыпала, и из угла можно было идти куда хочешь. Оля всегда к вечеру хотела в детский сад по соседству, потому что детей там летом не держали, возили куда-то в лес. Юля любила играть, а Оля разговаривать о стыдном.

— Ты с мужиками это самое? — спрашивала Оля, по-беличьему цокая семечками.

У Юли холодели руки. Она тогда еще не ходила в школу и ничего толком про это не знала — только вроде бы что дети из живота рождаются.

— То есть? — спрашивала Юля нейтрально.

— То есть-хреноость, — дразнительным голосом повторяла Оля. — Ну, они на тебя ложились? Письку трогали?

Они с Гешкой, Гошкой и Васькой сколько раз спали в дядиСерёжиной «Победе», и беспокойный младший Васька наваливался на нее среди ночи, а один раз заехал рукой по носу. Юле вдруг стало жарко щеками.

— А в шесть лет это можно? — догадываясь о чем-то невыносимом, интересовалась она.

Оля хихикала, сплевывая ошкурки. Юля раздумывала, у кого выяснить подробности. Перед Олькой дальше позориться не хотелось.

— А тебя? — Юля задала вопрос шепотом, как ангиной заболевшая.

— Чего? — Олька уже, кажется, забыла суть дела.

— Трогали?

— Ага, — беспечно выдохнула Олька. — К мамке один ходит, и меня тоже это самое.

— Где? — у Юли скакнуло что-то выше живота.

Она представила себе, как мама возвращается с работы, а на нее в этот момент налег чужой дядька, и к чему это приведет.

— А вот тут, на чердаке, — она показала на крышу детского садика, и Юля увидела небольшую, настежь распахнутую дверцу. — Ты только не говори никому, — предупредила Олька, но Юля и без нее сообразила, что о таком распространяться не стоит.

Когда Володя в очередной раз отбил ее у мальчишек и сопровождал домой, она решила:

— Вот если какой-то дядька на меня наляжет — это как?

— Какой дядька? — Володя нахмурил свое полустарческое лицо.

— Ну, например, — пояснила Юля.

— К тебе кто-то пристаёт? — Володя приостановил пересечение двора.

— Нет! — как можно чистосердечнее успокоила Юля. — Например же!

— Ты только мне скажи, — Володя взял ее за плечо и повел дальше. — Я разберусь.

Юлю это успокоило, но ненадолго. Володя был все время в распоряжении Никандра — или Никанора, — и попробуй его дозовись, если что.

Больше, чем нависаний с дурацкими вопросами, Юля боялась только дождевой бочки. Бочка стояла в углу, как наказанная Олька, и в ней глубоко что-то булькало само по себе. Прошлым летом, перед школой, она ждала и не могла дожждаться, когда мама ее заберет покупать форму и портфель. Нетерпеливо играла в штандар, хотя радовалась, что ее не обзывали и не гнали, и смотрела в сторону Проспекта Труда, который простирался совсем не далеко от станции. Мяч, криво подброшенный несурзной Элькой, вместо того чтобы лететь прямо к небу, описал дугу и плюхнулся в бочку. Юля стояла ближе всех, ее даже забрызгало, и она, не раздумывая, бросилась, и даже не бросилась, а отогнулась, чтобы достать. Бочка была Юле по шею, мяч отнесло к противоположному краю. Юля немного подпрыгнула, протянула руки, на уровне подмышек измазалась и окарябалась о ржавый обруч, встала на цыпочки, потянулась — и последнее, что она помнила, была ее собственная мысль:

— Сейчас они увидят, что у меня трусики порванные.

Все последующее Юля знала по наперебойным рассказам Гошки, Гешки и Васьки.

— Я как заору: «Повитель утопла!» — Гошка.

— Нет, это я заорал! А ты заревел, — Гешка.

— Чего врете? — Васька. — Она кувырк! А я Вовку увидел и заорал.

В общем, все, по их словам, заорали, не исключая Кольки и Шурки Михневых. В это же время Володя в черном, ремень с блестящей пряжкой, шел по двору с одной стороны, а мама со станции — с другой. Ноги Юли торчали из бочки сандалиями. Володя успел первым, не жалея гимнастерки, сунул руки в бочку, вытянул Юлю, как рыбу из садка, и понес текущую со всех сторон навстречу маме, которая, говорят, тоже визжала как резаная:

— Караул!!! Скорую!!!

Юля очнулась голая, когда мама терла ее грубым полотенцем, и в свою очередь загаркала привычное, если дело касалось мамы:

— Больно! Больно!

— Не больно! Терпи, дрянь такая! — мама шлепала ее и терла, шлепала и терла.

Гулять Юлю не выпустили, и остаток дня она провела с тетей Натой на кухне, обернутая еще более, чем полотенце, грубым одеялом. По случаю такого приключения

Юля была в центре внимания, и даже Никанондр сочувственно шевелил усами и говорил с оттенком жалости:

— Ах ты, пискля!

Мама с дядей Серёжей здесь же выпивали.

Зато Юля вдоволь наелась блинчиков, которые тетя Ната переворачивала и снимала с невиданной скоростью особенной лопаткой, бросая в огромную белую тарелку. Обычно Гошка, Гешка и Васька расхватывали пальцами раскаленную добычу со сковороды, минуя тарелочную стадию.

— Давайте Вовку позовем! — предложил дядя Серёжа. — Хватит ему там со стариком кувыркатся. Вовка — герой дня.

— Жизнь тебе спас, чучундре! — сказала мама и подергала Юлю за нос.

— Вова! Вова! Иди сюда! — голос у тети Наты был, как заводской гудок.

Володя пришел через некоторое время. Подпер притолоку и вопросительно выговорил:

— Ну?

— Что ну? — взвилась тетя Ната, которую Володя раздражал чаще, чем Юля — маму. — Стой как человек!

— Я как человек, — сказал Володя серьезно.

— Ладно, мать, кончай! — сказал дядя Серёжа. — Садись, Владимир, выпей с нами за подвиг спасения на водах.

— Не пью, спасибо, — сказал Володя.

— Дедушка не разрешает? — усмехнулся дядя Серёжа.

— У меня нет дедушки, — сказал Володя с вызовом. — Я сирота.

— Ой, только не надо, — сказала тетя Ната. — У каких родителей ты бы так жил?

И кто они еще были, неизвестно.

Володя промолчал, отвернулся. Юля подумала, что между детским домом и детским садом разница, как между Олькой и Элькой.

— Слышь, — неожиданно сказал он, не поворачивая лица к присутствующим, и такое обращение могло быть адресовано только Юле. — Пойдем к нам. Мы книжку читаем интересную. Про Бикельгерия.

Мама и дядя Серёжа беззастенчиво засмеялись.

— Гекльберри, — сказала тетя Ната злобно. — Гекльберри Финн.

— О, финны, — задумчиво сказал дядя Серёжа. — Красавица Суоми, какку-пукки!

— Сергей! При ребенке! — строго сказала тетя Ната.

Дядя Серёжа чмокнул Юлю в не до конца просохшие волосы и хрипло запел:

— Много лжи в эти годы наверхено,
Чтоб запутать финляндский народ.
Раскрывайте ж теперь нам доверчиво
Половинки широких ворот!

— Половинки? — озадаченно спросила мама.

— Никогда! Только по полной! — дядя Серёжа ровно бултыхнул из бутылки в рюмки, которые Юле всегда казались опасно хрупкими, и продолжил пение:

Ни шутам, ни писакам юродивым
Больше ваших сердец не смутить.
Отнимали не раз вашу родину —
Мы приходим ее возвратить.

— Можно я с Володей пойду? — тихо попросила Юля.

Мама не обратила внимания, а тетя Ната сказала преувеличенно ласково:

— Иди, иди, деточка! А то им без тебя скучно.

Пока Юля плелась за Володей по коридору, из кухни раздавался жизнеутверждающий хрип:

— Мы приходим помочь вам расправиться,
Расплатиться с лихвой за позор.
Принимай нас, Суоми-красавица,
В ожерелье прозрачных озёр!

Юля впервые перешагнула порог заветной комнаты и замешкалась. Она никогда не видела столько книг.

Никандрон из обширного кресла вскинул изумленные усы.

— Пусть она послушает, — сказал Володя просительно. — Чего ей там с пьяными!

— Ну, кто даму приглашает, тот ее и ужинает, — Никандрон вдруг улыбнулся добро, как настоящий дедушка.

— Она поела уже, — сказал Володя. — Давайте дальше.

— Как прикажете, гости дорогие! — новоявленный дедушка снова не рассердился, а осклабился и вздел очки: «Отец валялся в углу. Вдруг он приподнялся на локте, прислушался, наклонив голову набок, и говорит едва слышно:

— Топ-топ-топ — это мертвецы... топ-топ-топ... они за мной идут, только я-то с ними не пойду... Ох, вот они! Не троньте меня, не троньте! Руки прочь — они холодные! Пустите... Ох, оставьте меня, несчастного, в покое!..

Потом он стал на четвереньки и пополз, и все просит мертвецов, чтоб они его не трогали; завернулся в одеяло и полез под стол, а сам все просит, потом как заплачет! Даже сквозь одеяло было слышно...»

На этом месте Юля, завернутая в одеяло не хуже сумасшедшего из книги, не выдержала и заревела со страху.

— Пискля! — Никадронович бросил книгу и зажевал ус. — Я же говорил, не надо сюда никого водить! Разве нам плохо вдвоем?

Он взял Володю за руку, но тот выдернул, точно из рукава:

— Ей спать надо. Она и так чуть не уходилась, а вы пугаете!

— Это не я. Это Марк Твен, — попробовал отговориться Никандрарий. — Ты же был инициатором приглашения, и вот тебе пертурбация..

— Могли бы пропустить, где страшно, — ворчливо и не так чтобы вежливо перебил Володя. — Она же маленькая!

Он второй раз за день взял Юлю на руки, и она затихла, прижалась к его плечу и заметила попутно, как Володя сильно вырос. Донес ее до диванчика, на котором Юля спала с тех пор, как решила больше не оставаться с братьями в машине во избежание налегания. Юля остановила его:

— Побудь чуть-чуть.

Володя присел на край:

— Чего боишься, дурочка? У Гека отец пьянюшка. Белая горячка у него. Он опомнится потом.

— Тебе в детском доме было плохо? — спросила Юля.

— Ну, как плохо? Жрать только хотелось. А так — жить можно. Я там всегда малышно укладывал. Надзиралка к хахалю уйдет, а я оставался, мне даже нравилось. Сказки им рассказывал.

— А мне расскажешь? — попросила Юля.

— Да я уж позабыл все с этим... — Володя запнулся.

— А у Никандра тебе хорошо?

— Могло быть хуже, — сказал Володя. — Пацаны такие пушки заряжали, когда с воли приходили. А тут... Ничего, тики-так. Ну, все, спи давай.

— Какие пушки? — успела спросить Юля и провалилась.

Утром они с дядисерёжиными сыновьями и мамой зачем-то мчались в какое-то Обокино, где продавались сушеные лещи. В Обокине застряли на три дня у какой-то знакомой дяди Серёжи, и он гонял на чьем-то мотоцикле по пруду, и мотоцикл заглох, а дядя Серёжа хрипел:

— Отдать пульс! Убрать лапти!

А Гошка и Гешка его перекрикивали:

— Папа! Вылезай сейчас же! Мы все маме расскажем!

А дядя Серёжа махал мокрым кулаком и кричал:

— Стукачи! Вы мне не сыновья!

А Васька кричал:

— Я не расскажу! Я не расскажу!

— Молодец! Жиган! Наследник! — одобрял его намерения дядя Серёжа.

А знакомая бегала по берегу и кричала:

— Мой меня убьет!

А потом они опять пили, потом ехали из Обокино с вязанкой ненужных лещей в багажнике, и дядя Серёжа горланил жутким голосом:

— Три друга, три пилота
Летали на У-два...

А мама отчего-то была скучная.

И они ни с того ни с сего начали падать с моста в реку, и мама истошно взвыла:

— Идиот! Угровишь всех!

И на сей раз к реву Гошки и Гешки присоединился Васька, а Юля молчала — ей после бочки было все равно, и Володя же сюда не успеет.

А дядя Серёжа твердил, как по радио:

— Не бздеть горохом! Спасение неизбежно! Я заговорен!

И откуда-то появился трактор и тащил их тросом.

Совсем скоро Юля пошла в школу. Там ничего хорошего ее не ожидало.

А Никандратий вскоре умер. И Юля этому совсем не обрадовалась почему-то.

II

Правильно: поля орошения. Но прижилось — «фильтрации». Где там канавы, где трубы дренажные, сколько сточные воды «отдыхают» в септике, погибают ли в почве бактерии или заселяются в человеке воруящем в виде гельминтов, она не знала и знать не желала. Верила в очищающую силу почвы и на сытость уповала как на залог жизни. Каждый год видела своими глазами, что супеси, на которых стоял городок, а за его пределами были размечены ОРСовские уголья, политые профильтрованными и отстоявшимися фекалиями, пудретами, как говорили прежде, так хорошо родят, что и обывателю на унос хватает, и заводчанам остается.

С полей тащили все, и она — больше всех. О моральной стороне отучила думать война, третья на ее веку. Кого-то войны, судя по газетам, воодушевляли, но у нее каждая вынимала частицу души. В первую она потеряла Игорёчка. Во вторую стала тем, что есть. Третья окончательно лишила самомнения. Когда выходила за Липова, была уверена, что жене главного инженера бытом заниматься не придется, и рассчитывала уж во всяком случае на домработницу. Предупреждения, что Липовы берут ее именно в таком качестве — прислуги за все, она отметала, полагаясь на сословный этикет, которому следовал ее первый муж. Но Липовы избегали посторонних

Ирина Колесникова

Так начинаются слова

* * *

На Троицу жарко. Гостей редких жду.
Куплю абрикосов на рынке колхозном,
соседка полощет бельё на пруду
и кажется маленькой в деле серьёзном.

Нагнётся к воде, засучив рукава.
Со дна своё детство достанет и снова
плывёт по-собачьи оттуда сюда
из самого страшного сорок второго,
а дальше не помнит... Несётся отряд.

Приехали внуки на целое лето.
Беззубые рты абрикосы едят,
и рыжие косточки в небо летят,
и ангелы ловят их где-то.

* * *

Верхняя полка, книжка-гармошка,
душный вагон засыпает немножко.
Поезд ныряет в черничные ночи.
Спелые дни и вкусней, и короче.

старого города тёплые липы,
новые вспышки тяжёлого гриппа,
тихое слово, святое причастье,
несовершенное, но всё же счастье.

Лето кончается, но остаётся
мамин подарок, июльское солнце,
банка с вареньем, мешочек с грибами,
книжка-гармошка с чужими стихами,

Быстро пустеют купе и плацкарты.
Поезд ложится кружочком на карты,
и по пунктиру, как птичьему следу,
я возвращаюсь. Я скоро приеду.

Ирина Колесникова — поэт. Родилась в 1983 году во Владимире. Окончила филологический факультет Нижегородского государственного университета имени Н.И.Лобачевского. Автор двух поэтических сборников «Вслух о тебе» (2017) и «Между голосом и словом» (2019). Живет в Екатеринбурге. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

* * *

Смотрю на бледный профиль, разгадывая, где во мне библейской крови растёт наследие.	И можно ли вот так пустить по ветру корни...
Упорство мягких линий округлого лица скрывает без усилий всю избранность отца,	Безумствует орда, её предошущаю в роду своём, когда
и бабушкину схиму по линии другой пересекает имя, стянувшее петлёй	вода покорной Клязьмы и старые холмы, и беленькие храмы, — всё это я, всё мы
измученную шею, свою родную. Как мне вымолить прощенье?	и все, кого не помню, не знаю, как зовут, но вижу так упорно в себе и там, и тут.

* * *

Когда совсем привыкнет к телу
не знавшая его душа
и к горлу — высшему пределу —
с блаженной лёгкостью стрижа
приложится и, повсеместно
ища иного естества,
просыплется на жернова, —
под языком темно и тесно.

Так начинаются слова.

* * *

День закипает. Дети смеются.
Прячется кот на балконе.
Младший впервые пошёл. Оглянулся
и потянулся к иконе.
(Приподнимает большая рука
ангела этого до потолка).
Пальчиком водит по лику и плачет,
и незнакомая мама
кажется очень похожей на ту...
ту, что стоит у дивана.
Солнечный зайчик запрыгнет в окно,
вербные ветви поймают его.
Мама возьмёт на колени
сына, и радость души велика,
и утешение — вкус молока.
Двигутся женские тени
вдоль разрисованной мелом стены.
Мальчику обе видны.

Игорь Кузнецов

ОТСТАВШИЙ

Повесть про себя

Тане Морозовой

«Тонкие вещи» и три жизни

Недавно дочь со спокойным изумлением и чуть с недоверием сказала-спросила:

— Тебе же в этом году шестьдесят?

— Ага. И как всегда — в декабре.

— Надо будет что-то придумать...

Раньше, уже немного давно, одна любимая тогда женщина требовательно и даже с некоторым раздражением попросила:

— Да напиши ты, наконец, про свои «тонкие вещи», а то только все говоришь и говоришь...

А мой давний, еще со студенческого Изборска товарищ, цыган, ныне директор усадьбы «Останкино», на мою не помню по какому поводу реплику: «Мне же в этом году шестьдесят», в своем кабинете и в присутствии красивой женщины, пришедшей со мной, изрек, кажется, только что придумав:

— Первые шестьдесят лет — самое трудное в жизни мальчика. Дальше — легче.

Что ж, посмотрим...

На самом деле жизней-то было уже три.

Первая — до Тани.

Вторая — с Таней.

Третья — после Тани.

О первой и второй я отчасти написал, вполне документально¹. Третья — продолжается, иногда отражаясь в прозе, но этак с вывертами. А вот здесь все можно рассказать в чистейшем виде, без фантазий. Почти.

Кузнецов Игорь Робертович родился в 1959 году. Окончил Литературный институт им.А.М.Горького в 1987 году. Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Иностранная литература», автор нескольких книг, в том числе «Бестиарий» с иллюстрациями Татьяны Морозовой (М., 2010) и др. Составитель нескольких изданий И.А.Гончарова (биография, комментарии). Живет в Москве.

Предыдущая прозаическая публикация в «ДН» — 2018, № 8.

¹ «Город без невесты» («ДН», 2019, № 6) и «Путь. Повесть о Тане» («ДН», 2012, № 8).

И когда у меня будет молодая жена, а мне кажется, что точно будет, не просто подруга, именно жена, умная, милая и незлобивая, я ей скажу:

— У тебя теперь тоже будет три жизни.

— Это как? — задумается она.

— Одна до меня, вторая со мной, а третья — после меня.

— Не хочу без тебя, — закапризничает, надеюсь, она.

А я, пропуская ее реплику мимо ушей, но хорошо запомнив, поясню:

— Зато в третьей жизни ты сможешь начать все сначала — у тебя на это еще останется, скорее всего, уйма времени. А вот для меня жизнь с тобой будет уже четвертой. И, думаю, последней.

Надеюсь, она поймет. Вот только где ж ее встретить?

А чудо? Разве ты забыл, что в твоей жизни чудеса всегда случаются?

Не забыл. Вспомнил. Их много, не счесть.

Например, Амстердамщина

Я тогда придумал роман «Амстердам», ни разу в этом городе не побывав и даже не слишком пока о нем мечтая, — времена у нас стояли уже чуть менее драконовские, но еще не окончательно вольные — вторая половина восьмидесятых.

Наша итальянская подруга Лаура как раз оказалась на очередных международных курсах русского языка в МГУ. И я ей говорю:

— А приведи к нам в гости каких-нибудь голландцев.

Лаура привела двух милых, немного мужеподобных девушек, имен которых история не сохранила. Зато они мне подарили мою первую книжку про Амстердам, а одна из них как-то преподавала мне неожиданный урок столь неизвестной у нас тогда женской самодостаточности, надо сказать, странный для меня и по сию пору. Мы с ней, как сейчас помню, выходили из троллейбуса на Тверском бульваре, и я привычно подал ей руку, а она отшатнулась так, будто я протягивал ей на ладони мокрую и холодную жабу.

Девушки быстро куда-то канули, но к нам в дом потянулись другие голландцы — им ведь тоже было интересно узнать изнутри, как же живут эти загадочные русские, чей язык они старательно изучали.

Так, в некоторой последовательности, появились у нас ден Бур, Магрейт, она же Маргарита, ван дер Хейден и Якобин, быстро переименованная в Яшу. Все они уже неплохо говорили по-русски, а Яша так и вовсе с чудесным московским прононсом.

И все они стали нашими друзьями уже на всю жизнь и даже переданы по наследству: для дочери Маши они вскоре, как и итальянская Лаура, превратились почти в родственников и, во всяком случае, мы до сих пор не потерялись и, пусть изредка, а общаемся, хотя бы в эпистолярном жанре. Думаю, внуку Пете тоже не избежать этой участи.

Несмотря на вроде бы тяжелые времена, всем нам тогда в России было весело.

Как-то голландские друзья зазвали к нам случайных соотечественников, сопровождавших гуманитарные грузы из Голландии в Россию: тонны сухого молока, детского питания и прочих долгосрочных продуктов.

Естественно, устроено было застолье. И кто-то из этих залетных голландцев изумленно сказал (нам перевели):

— Да мы дома-то так роскошно и вкусно не едим. И сюда мы возим гуманитарную помощь?!

«Наши» же голландцы ко всяким российским щедрым выкрутасам уже были привычны — они или подолгу и тогда, и потом работали в России, или часто приезжали. Их хороший русский язык этому способствовал, на время став даже основой профессии.

Почему они стали изучать русский язык, помню только про ден Бура. Он просто выбрал из двух, на его взгляд, самых сложных, предпочтя наш родной китайскому, русский же, по обстоятельствам, познал до самых глубин.

Одно время он работал в некоей голландской структуре, связанной с Интерполом: сидел в наушниках в тайной, едва ли не подземной комнате, прослушивая и переводя телефонные разговоры российских бандитов, промышлявших в европейских пространствах. Ну понятно же, на каком русском они говорили.

Маргарита стала корреспондентом голландского радио и много где успела побывать на просторах недавно развалившегося СССР.

Однажды она брала интервью, кажется, у президента освободившейся Латвии. Естественно, заговорила с ним по-русски. Но тот наотрез отказался говорить на вражеском языке. Маргарита продолжила на английском, но у президента с этим как-то не заладилось. Она предложила ему общаться по-французски, но тот по-французски не знал. Немецкий ему тоже не подошел.

Немного вскипев, Маргарита перешла на голландский.

— Ладно, давайте по-русски, — махнул рукой президент.

Прилетев же как-то ранним утром из Баку, а жила она в тот раз у нас, Магрейт выложила на кухонный стол огромный, килограмма в полтора, шмат паюсной икры. Выяснилось, что икру можно резать ножом и намазывать в любом количестве на хлеб, хоть с маслом, хоть без. Сначала было очень вкусно. Но через несколько дней мы уже стали забывать угощать ею гостей: ну, черная икра, и что ж в ней такого?

Ван дер Хейден во время августовских событий 1991 года — лето же, отпуска — остался единственным голландским корреспондентом в Москве и заработал кучу денег, строча репортажи сразу для всех изданий Нидерландов. Еще мы с ним съездили на Кавказ, где каждый второй предлагал ему создать совместное предприятие, а каждый первый лучше него разбирался в голландском футболе. У него давно русская жена, а работает он главным редактором финансово-экономического журнала. Специфика издания в том, что они придумывают, как гражданам обойти всякие препоны налоговых органов. Те, являясь их самыми усердными читателями, в ответ придумывают очередные хитрые сложности, а эти... Так и соревнуются.

Якобин в качестве переводчицы долго и регулярно подвизалась на ниве сельского хозяйства, не без успеха продвигая в Россию лучшие сорта голландской картошки, в перерывах не менее регулярно и совершенно бескорыстно выходя замуж за всяких представителей гонимых африканских народов, дабы те получили искомое европейское гражданство, детей, впрочем, она родила все же голландских.

Мы подружались и с ее родителями — Йоппи и Йаном. Йан много лет был мэром небольшого городка Бергена, минутах в сорока езды от Амстердама, где сначала селились художники, а потом все больше очень богатые люди. Из его экскурсии по светлому зданию мэрии запомнились две детали: кран с бесплатным пивом на первом этаже и разнообразная живопись в каждом кабинете. Оказалось, что в коллекции мэрии порядка четырехсот работ бергенских художников, и каждый сотрудник сам выбирает, какой картиной украсить свой кабинет.

Мэр с женой жили в очень хорошем доме с большим садом, куда мы выходили, обував деревянные башмаки-кломпы. Но принадлежали дом и сад не мэру, а мэрии. И когда Йан оставил свой пост, им едва хватило всех накоплений, чтобы купить — нет, не в самом Бергене, там цены на недвижимость были им не по карману, а где-то по

соседству — маленький домик (это всего лишь к слову о тонких голландско-русских различиях в понимании «службы народу»).

Теперь все наши голландские друзья живут дома, в Россию приезжая редко, мы и то ездим к ним почаще. При встрече обязательно вспоминаем Таню, а частенько и любвеобильного Бонда.

Роман же «Амстердам» я так и не написал. Оказывается, есть уже несколько клонов с похожим названием, а плагиатом я не занимаюсь.

Анубис и Бонд

Анубис был эрдельтерьером, рыжим, стремительным и вороватым, Бонд — лабрадором, шоколадным, вальяжным, мудрым и самым добрым из всех людей, кого я встречал в этой жизни — ну, немножко с хвостом.

Станинг Люкс Анубис, а так его звали по собачьему паспорту, появился, едва Маше исполнилось лет десять — возраст, когда ребенок уже сам может гулять с собакой. Забегая вперед, скажу, что это хорошо и правильно заводить собаку при взрослом ребенке: собаки приучили дочь к ответственности много больше, чем мы с Таней и бабушкой вместе взятые.

Маша научила его звонить лапой в колокольчик и аккуратно открывать зубами тубы с чипсами. На чипсах он как-то и попался. Я на кухне пил пиво, для удобства выкладывая часть продолговатых чипсин на крышку. Отлучаясь в глубины квартиры, я заметил, что чипсы вроде как понемногу уменьшаются в количестве. Спрятавшись в туалете, сквозь щелку я решил понаблюдать за происходящим. Воровато озираясь, Анубис прошествовал мимо, подошел к столу, боком челюсти осторожно взял несколько чипсин и тут же скрылся из кухни.

Как-то он сожрал торт, искусительно оставленный на уровне досягаемости, а еще щенком устроил пьяный новогодний дебош. Тогда шампанское почему-то плохо открывалось. Когда оно все-таки открылось, то едва ли не полбутылки выплеснулось на пол. Анубис эту лужу с удовольствием вылизал, через несколько минут — у шампанского же быстрый хмель — закачался на своих длинных неустойчивых лапах, доковылял до окна, завернулся в занавеску и уронил гардину, всеми этими действиями очень украсив нам празднование Нового года.

Таня тримминговала его со всяческими художественными излишествами — то делала ему челку, то ирокез на рыжей башке, то пуделиный хвост с игривой кисточкой на конце. Анубис не возражал.

Однажды ранним утром, и я еще сладко спал, Анубис, которому запрещено было заскакивать на все, что выше его груди, запрыгнул ко мне на кровать рыжими передними лапами и ткнулся мордой в лицо. Я не успел возмутиться — через три секунды заверещал домофон: это Таня вернулась из командировки. А жили мы, между прочим, на восьмом этаже.

Когда его укусил клещ, я был в Сочи. И по телефону впервые услышал это отвратительное слово «пироплазмоз». Остальное я тоже знаю только по рассказам жены.

Доктор сказал, что шансы пятьдесят на пятьдесят.

Анубис как тряпочка три дня лежал на подстилке под капельницей, привязанной к швабре, смотрел грустными глазами и, кажется, все понимал. Маша сидела рядом и гладила его между ушами.

Узнав, что он умер, я вышел из офиса во двор, уткнулся лицом в ближайший угол и заплакал.

Сергей Попов

Божий карандаш

* * *

С треногами, мольбертами, листами
над крышею художественной школы
крылатые создания летали,
и числа забывая, и глаголы.

В цветное небо лезли вон из кожи —
там голубой, и палевый, и рыжий...
На мальчиков и девочек похожи
с непоправимо съехавшею крышей.

Но сходство и поверхностно, и мнимо.
И мало кто цветами озабочен —
и на земле проскакивают мимо,
и от земли торопятся не очень.

А эти отрывались до упада,
выделывали в небе пируэты
и улыбались, будто так и надо,
секретным знаньем исподволь согреты.

Пылало окаянное веселье,
кромешным светом хмарь одолевая
осоловелой местности весенней,
где пандемия зрела огневая.

И выдавали ангельские лица,
что числа и глаголы ни на йоту
не стоят права вдребезги разбиться,
доверясь несусветному полёту.

Попов Сергей Викторович — поэт, прозаик, драматург. Родился в 1962 году. Окончил Литературный институт им. А.М.Горького. Автор многих книг стихов и прозы, в том числе «Отдел теней и лавров» (Тамбов, 2017) и «Азбука буки» (М., 2017). Лауреат многих литературных премий. Живет в Воронеже.

* * *

До плечи промок берет над походной палитрой. Тулится блажной ветерок в посадке нехитрой.	верстая мирской интерес и вышнее иго. Стоически штрих за штрихом рукой окаянной и косной всё, что кругом, он к жизни двойной и несносной
Морочится. Да докуда ещё дождевая. О господи, стоит труда давиться, чубук продувая?	никак не устанет клонить, дышать на ладони — стволов волглорукких финифть на выпуклом склоне,
Вгоняя в разбег кистевой сквозные пропорции яви, уравнивать умысел свой с творцовой задумкою вправо,	подрамниково ребро, зрачковая жадная нега — на вдох и на выдох добро всего-то до первого снега
копирует выцветший лес кургузый маратель-расстрига,	

* * *

Аперитив, подвявшее желе
дрожат в потёках робкого восхода,
как чёрный ангел Шиле над шале
под Веной восемнадцатого года.

В могиле Климт. Беременна жена.
Победной спесью дышит Мировая...
Но, как на грех, важнее тишина,
чтоб любоваться, глаз не отрывая.

Порнограф, уголовный фигурант,
безумья покаянный привереда,
по межсезонью сам себе не рад,
хоть и казалось, — вот она, победа.

Он первый, он единственный теперь.
Наследный принц, последняя оторва.
И сколько ни указывай на дверь, —
слаба любая здешняя контора.

Но воздух гнилью намертво пропах.
Дунай несёт имперскую отраву.
Аперитива привкус на губах.
И где десерт, положенный по праву?

И почему здоровье горожан —
такая увлекательная тема?
Вовек не выбирал и не решал,
а бредил нескончаемостью тела...

И отчего бояться как огня
везде обыкновенной лихорадки?
Крут карандаш, а прочее — фигня,
покуда всё с бумагою в порядке.

Война, война. Кафешек огоньки.
Худых натурщиц острые коленки.
Такая мерзость в воздухе с реки,
что сыростью коробятся нетленки.

И выпадает верить наобум,
что всё решится нынешним накатом...
О чём печаль? К чему весь этот шум?
Зачем привязка к выставкам и датам?

Когда уйдёт испанка в никуда,
родится сын, смирятся доброхоты,
искусство завоюет города,
глухие и надёжные до рвоты.

И что за осень ляжет над водой!
И что за грифель грянет в одночасье!
И ангел слёз, до дрожи молодой,
расскажет всё про призрачное счастье.

* * *

Пока послерождественскую дрёму
превозмогает населённый пункт,
по сонному окраинному дому
неутомимо движется паук.

Он смотрит в угловую паутину,
где клочья снов, серчания простуд,
осевшие на высохшую глину,
хранят его порожносетный труд.

В ячеях брезжат пятна и потёки,
и трещин ускользающая вязь.
И времени холодные потоки
гуляют, пустотою становясь.

И лапами игольчатыми тыча
в кромешную невидимую твердь,
он узнаёт, что вся его добыча —
сквозная жизнь и будничная смерть.

Не посылает редких легкокрылых
суровый бог на нитчатый предел.
И потому отечество не в силах
ничем помочь ловцу летучих тел.

И для судьбы желателю успений
отведена терпения тшета,
как будто невостребованный гений
слепого зла не стоит ни черта.

И нет ему надежды на подсветку
и зрения спасительный метраж,
пока линует пагубную сетку
поверх рожденья божий карандаш.

Алексей Устименко

Барса-Кельмес

Повесть

I

Аральское море находится к Востоку от Каспийского. ...Большое количество островов послужило поводом к названию — Арал Денгиз, употребляемому киргизами. ...Островов много. Во-первых, близ восточного берега: Кос-Арал перед устьем Сыр-Дарьи. Во-вторых, близ западного берега: Куг-Арал, Барса-Кильмес¹.

*Энциклопедия Брокгауза и Ефрона,
1890—1907 гг.*

Алюминиевая кружка звенела цепью, как собака, прикованная к своей конуре. Иногда мелкие звенья будто бы даже тихо рычали. Это когда кто-нибудь, зачерпнув воды из мутно-серого алюминиевого же бачка, к которому кружку некогда приковали, тянул ее на себя, чтобы выпить.

Прихрамавший с улицы Борис тоже опустил кружку в воду и, не отерев и не отстраняясь от падающих на рубаху капель, стал медленно пить.

На табурете сидящий вахтер Иногамов с уважением посмотрел надвигающийся кадык Бориса. Он охранял бачок и рассортировывал по нужным комнатам приходящих в редакцию посетителей.

Козья ножка, сверченная из обрывков первого корректорского оттиска вчерашней газеты, тонко посвистывала, когда Иногамов, затягиваясь, всасывал воздух. Звук

Устименко Алексей Петрович — писатель, редактор. Родился в 1948 году в Новосибирске. Окончил Ташкентский государственный университет. Работал собственным корреспондентом по Средней Азии ряда московских изданий, главным редактором журнала «Звезда Востока» и духовного литературно-исторического альманаха «Восток Свыше». Автор многочисленных журнальных публикаций и нескольких книг прозы, в том числе «Владимир — митрополит Среднеазиатский» (Т., 2011), «Китайские маски Черубины де Габриак» (Т., 2012), «Странствующие в золотом мираже» (М., 2018) и др. Постоянный автор журнала «Дружба народов». Живет в Ташкенте.

Журнальный вариант.

¹ Барса-Кильмес (Кельмес) — бывший остров в Аральском море (с казах.: «Пойдёшь — не вернёшься»).

оказывался слышнее, чем все иные, перепутанно долетавшие снаружи. Оттуда, где узкая Зерабулакская улица с торопливой оглядкой, чтобы ее случайно не сбил одиноко тренькающий красно-желтый вагон трамвая, перебежала через Махрамский проспект. Именно здесь, в скрещении двух тополиных улиц, недалеко друг от друга прижились две газетные редакции — «Красной звезды» и «Туркестанской правды», бывшей прежде «Известиями ТуркЦИКа».

— Дрянь вода, — сказал Борис, не вытирая губ. — Теплая, как Каспий.

— Какая уж ни на есть, — отвечивал Иногамов, посипев самокруткой.

Цепочка чуть-чуть порычала, но быстро затихла. Кружка стукнулась о крышку бачка: невидимый пес убрел в конуру.

— Дрянь вода, — повторил Борис. — И как ее люди пьют? Барса-Кельмес — пойдешь, не вернешься...

— Кельмес, Кельмес, — покивал Иногамов. Окончательно дососав, выплюнул козью ножку на пол, растер коричневым сапогом в черно-желтое мокрое месиво и отшвырнул под бачок с перегретой водой.

— Ты бы, гражданин Иногамов, такого лучше не делал. Люди приходят. Какое у них от этого останется уважение?

— Кельмес, Кельмес, — продолжил прежнюю мысль Иногамов. — Откуда же ей холодной быть? Колонка не близко... Замучаешься, если туда-сюда много ходить. Да и пока дотащишь, уже нагреется. Иначе, какой же это тогда Ташкент?

— Может, бачок какой-нибудь тряпкой укутать... чтоб не так грелась.

— Можно и тряпкой. А только пока ты, Борис Андреевич, здесь пустяки придумываешь, тебя в кабинете второй час девка дожидается. Одна сидит. То есть с этим, который...

— Какая девка?

— Аллах ее знает! В красном платке, а титек нету. Застегивай пуговицы на гимнастерке, расстегивай пуговицы на гимнастерке — все будет зазря. Ничего не увидишь, ничего не торчит.

Нельзя сказать, что Борис сильно радовался постоянным таким разговорам. Но и пробежать мимо них не получалось.

Он всегда машинально приостанавливался перед самой лестницей, пил воду, — бывало, что и не в жару: готовился взбежать. Да так оно и было, что — готовился.

Нога, перебитая в пальцах в момент, когда, поторопясь, попытались взять банду атамана Зелёного у разъезда Карапыши еще на Украине, хотя и приспособилась к себе самой, других препятствий необъяснимо остерегалась — притормаживала. Пальцы требовали пригасить огонь, тем жарче тлеющий, чем больше приходилось ходить.

Остановка все же заглушала пожар в сапоге.

Борис останавливался, пил воду, что-нибудь говорил. И только потом взбегал по крутой лестнице.

Иногамов оценивал это по-своему:

— Тебя, Андреевич, всегда слушаю. И всегда для тебя исполняю, сам нагадил, сам и затру. Гаеп мулла кызында да була...¹ Вот, вчера, ты тоже сказал, я и сподмел даже. Ты ведь не тот, который...

Он запнулся и замолчал. Потом удрученно добавил:

— А титек, все одно — нет...

¹ «Грехи даже у дочери муллы бывают...» (*tamar.*).

II

«Очки ...были со странными, квадратными стеклами и квадратное было лицо. Стекла поблескивали мертвым металлическим отсветом, и от этого человек сам казался выверенной машиной, точной и неумолимой».

«Тот, который...» невозмутимо сидел за столом и смотрел в окно. Именно — в окно, а не сквозь него. Несомненно, он даже и не видел шумящего и многолюдного Махрамского проспекта. Не видел, а следовательно, не пугался, что сквозь пыль повисало над разогретыми солнцем булыжниками: беспредельно затягивающей глубины океанского неба, покачивающегося от струящейся кверху жары, готовой растопить в раскаленной кисельной голубизне случайные облачка, схожие с узконосыми каюками — лодками туркмен и киргизов, плавающими по Амударье и заглядывающими сквозь тугаи¹ и в Арал-денгиз, и — за гористым переволоком — еще дальше... В самый Каспий.

Каждая — под косым выцветшим парусом, одиноким, как отстреленное крыло раненой птицы.

Да и сами те лодки готова жара и растопить, и расплавить в струящейся магме воздуха, от соприкосновения с которым даже тонуть будет нечему, — все обратится в распластанное над землей негустое желе.

«Тот, который...» — сидел и старался слушать.

Мелкая девица в наглухо застегнутой гимнастерке, с темно-серыми мокрыми кругами под мышками, бегала по кабинету — от окна к двери и обратно — и читала прокурненным голосом слова, похожие на стихи:

Мы должны показать всему миру,
Что мы впереди всех стран идём!
Мы вычистим и отмоем всю земную квартиру,
И сделаем из неё общий социальный дом.

«Тот, который...» смотрел в окно и старался слушать, не слушая. Делал терпеливый вид, как всегда пряча свою сущность. Внутренне — под внимательным невниманием. Внешне — под медленным натягиванием ласково поглаживаемых черных сатиновых нарукавников и подправляемых указательным пальцем тяжелых роговых очков.

Сущность Николая Константиновича Бек-Богдановича, понятно, из-за одной только лишь фамилии, была привычно непролетарской. Поэтому во всем остальном несомненно требовала не очень сложных изучающе-политических раскопок, какие постоянно грозился произвести редактор «Красной звезды». Но сам же этого не делал. И другим, до времени, не позволял, боясь, что истинные законы истинной пролетарской справедливости лишат Николая Константиновича Бек-Богдановича непролетарской жизни, а газету — ее гордости: лучшего в Туркестане буквоеда-корректора.

Красная косынка зигзагами встревоженной птицы летала по солнечной комнате в ритме вскрикиваемых, будто ножом настроенных строк.

¹ Тугаи (тюрк.) — пойменные леса в Средней Азии.

Борис еще не решался войти, когда вдруг тот, который смотрел в окно, оборвал девчонку, не оборачивая головы:

— Ему будет интереснее. Он — замредактора, и дальше ему решать про ваши стихи. Знакомьтесь — Борис Сергеев.

Девчонка запнулась, как ударенная, на мгновение перестав понимать, — зачем ее остановили? Покраснев, оглянулась...

Борис сначала увидел себя в зазеркалившемся стекле, покачивающегося вместе с темно-зеленой листвой чинар и карагачей, давно доросших до второго этажа. А потом и ее, прерванную.

Косынка туго обнимала выцветшим сатином сухие волосы над гладким лицом, круглым и коричневым, как каштановый орех.

— А я тебя знаю, товарищ Сергеев. Ты на Первомай по крышам лазил. Очень хвалю... Сказали б, и я бы с тобой полезла. Хотя высоты боюсь. Там, где служила, все плоско. Только ветер пески гоняет. Там нигде ничего не торчит.

Второй раз услышав недавнее слово, Борис машинально взглянул на ее грудь.

Она заметила и засмеялась:

— Мужик ты, мужик и есть. А я думала, что художники и поэты одних себя разглядывают, что у них глаза вовнутрь вывернуты. Оттого обо все углы бьются, ничего не видя. Ни революции, ни лужи под башмаком. А ты — вроде бы видишь... Потому и с высоты не свалился. Опасаешься ее... А те картины, что вешал над улицами, кто рисовал?

— Я и рисовал, — достав из кармана тоненькие очки, медленно и строго, чтобы успела остудиться кровь собственных покрасневших ушей, сказал Борис.

А действительно, куда это сгинула ее грудь? Молода ведь совсем... Впрочем, может, как раз поэтому и не вошла еще толком...

От новых ненужных мыслей уши вовсе стали горячими, стыдно затяжелели.

Бек-Богданович подтянул нарукавники почти до самых локтей. Пошевелил бумагами:

— Пишут: в Москве появились паштетные. Работают синема. Перед каждой фильмой в буфете продают белую рыбу с пивом.

Девчонка зло посмотрела на Бек-Богдановича, короткими пальцами вцепилась в рукав сергеевской гимнастерки, притягивая ее к своей, употевшей, и шепнула, чтоб было слышно:

— Да, полезла бы. Ты правильный. Не то, что этот... Сыч белогвардейский... Давай отсюда уйдем. Я тебе их там прочитаю, в коридоре.

III

«...Резкий голос плескался ударами в стены, подымался к облупившемуся потолку и оттуда падал на головы тяжелыми кусками, как будто бросали сверху горстями круглые свинцовые пули».

Доски коридорного пола от общего хождения по ним еще не скрипели. Протертые мокрой утренней шваброй, напитанные серой влагой, они отдышающе высохали, дыша с облегченностью испытанного вождения. Но всего с десяток минут, и — по ним снова пойдут, шаркая и стуча, торопливые ноги истаптывающих посетителей, набивающих кривые зазоры и длинные щели вспрыгивающей пылью, вместе с наползающей жарой заполняя все сухостью и — вновь, постепенно — дневным скрипом.

Роман Смирнов

МОЖЕТ БЫТЬ, МЭЙ БИ, МАБУТЬ

* * *

Всё, что сеял под камни ты,
в ритуальной тоске,
вырастает из памяти,
как стихи на листке:
голоса или профили,
или запахи лишь,
затемнёнными лёгкими
вечерами продлишь,
и вплетёшь в эту тусклую
полосу от окна,
словно ленточку узкую,
где твои имена.

* * *

гвоздь рассвета по шляпину вогнан
молоток брошен в пол где-то там
что вы смотрите окнами в окна
маргинальные в доску дома
здесь двужильны то стёкла то рамы
человеки сжигают озон
и предчувствия русской драмы
словно спойлер спасают сезон
говорящая рыба на правде
жигулёвский хрусталь под столом
так чего же скажите мне ради
пресловутый искать окоём
всё как встарь по всему документу
кровь на блюде и жир на руках
потому что прошедшего нету
да и рай не начнётся никак

* * *

Крути педали, отпускник.
Свобода, заданная на дом.
А в рюкзаке не надо книг.
Да ничего вообще не надо.

Тебя встречает белый день,
трава, поросшая обрывами,
и справа лес, и слева тень,
река, беременная рыбами,

аутентичность алычи,
цвета, избегнувшие серого,
поля ничейные — а, чьи? —
и в центре высохшее дерево.

Ещё не всё ты повстречал.
Крути, крути, крути педали.
Открытым господу плечам,
движенья золото придали.

Излишний пафос, может быть.
Меня ты не пойми превратно.
Остановись, воды испить
колодезной, и в путь обратный.

* * *

Может быть, мэй би, мабуть,
доживём, продолжим путь,
Заживём душой и телом,
говоря: не в этом суть.
А душа и ни при чём,
что-то с чем-то за плечом —
нам бы выйти, встретить друга
и обняться горячо,
долго за руку держа.
Есть границы, нет держав.
Рассказать ему об этом,
словно вдоволь жито сжать.
Много будет этих встреч,
где объятия, как речь?
Может быть, мабуть, наверно.
Столько, сколько хватит плеч.

Андрей Завтур

Записки таёжного лекаря

Отрывок из повести

Егорыч

Тонкая струйка дыма. Ворох картонных папок на столе. За ними молодой человек, замерший, будто восковая фигура. Все в нем казалось унылым, усталым. Жидкая прядь светло-рыжих волос, очки в толстой оправе и вытянутый по-птичьи нос. Протер воспаленные глаза, отложил очередной лист и вздохнул, услышав гулкие голоса, скрип половиц и придыхания продранного линолеума. В кабинет вошел пожилой низкорослый мужчина. Взъерошенная копна седых волос. Несуразно длинный халат с оттопыренными карманами.

— Приветствую, Павел!

— Добрый день, Анатолий Егорыч! — оживился молодой человек.

— Скучаешь, коллега? — дед бордо протянул руку.

Павел посмотрел на отекавшее землистое лицо, отметил нездоровый блеск в маленьких глазах, дрожащие пальцы, запах перегара и вздохнул с особой печалью.

— Оно не мудрено в таких казематах безвылазно сидеть! — суетился Егорыч. — Скучна теория, мой друг, а древо жизни пышно увядает... Всё архивы изучаешь, вот папки натаскал. Тебя за ними не сразу и разглядишь.

— О-хо-хо...

— Никакого парадокса, Павел, все стандартно, — старик раскрыл верхнюю папку. — Скучно?

— А на мне это написано, скука эта?

— Оно, Павлуша, в умных глазах всегда все написано! — Егорыч рыскал глазами по кабинету. — А давай-ка ты время не трать на эту макулатень, скатаемся в одну деревню. А?

— О-хо-хо...

— Да не охай ты! Тут недалеко.

— Да что не охай?

— И случай интересный. Там заночуем! — говорил Егорыч, будто о решенном деле. — Свежий воздух не помешает. За два дня и вернемся.

Завтур Андрей Васильевич родился в 1981 году в городе Дубоссары МССР. Окончил Российский государственный профессионально-педагогический университет. Работает инженером. Первая публикация автора. Живет в городе Советский, ХМАО.

— За два?

— За два, — старик закрыл папку и глянул в окно.

— Сколько лет прошло, а вид все тот же, стена из кирпича, курилка и синяя скамейка, — покачал он головой. — Эх, сколько лет я просидел в этом кабинете! Даже тот же стул, все тот же. Ничего не меняется.

— Так это ваш кабинет был? — удивленно протянул Павел.

— Пять лет просидел, как ты, как книжный червь, так же.

— О-хо-хо.

— Насчет руководства я уже договорился, выездную тебе оформили, — словно бы вспомнил Егорыч. — Командировочные в кассе получи. Плащ есть у тебя?

— Нет, плаща у меня нет.

— Не беда, у оперативников возьмем, народ этот запасливый. Через полчаса «санитарка» придет, так что собирайся! — старик вышел, оставив за собой распахнутую дверь.

Проходящие сотрудники робко заглядывали в кабинет. Анатолий Егорыч слыл в коллективе человеком непредсказуемым, необщительным. А если встречался с кем и говорил, то, как правило, о бездарности коллег, за что и получил, в силу своей чудаковатости, незавидное прозвище «Леший». Начальство тоже сторонилось старика, изредка подсовывая безнадёжные дела и закрывая глаза на частый нетрезвый вид.

Вышли уже в сумерках. Пространство холодно пыhalo отсыревшей листвой. И чем ближе к пристани, тем острее и свежее запахи.

* * *

Вдали тонкой полоской растянулся рыхлый туман. Катер вяло рассекал стеклянную гладь. Брызги, ударяясь о прозрачный фонарь, собирались в долгие кляксы. В салоне было тепло и спокойно. Полицейские коротали время в пересказах забавных историй. Раскатом смеха заканчивалась одна история, затем следующая.

— Анатолий Егорыч, а вы чего такой серьезный, не смеетесь? — тихо спросил Павел.

— Я свое отсмеялся, Паша. Все эти истории еще при моей юности перелопачены донельзя, — он прикрыл глаза, будто бы успокаивая себя. — Все циклично, меняются люди, а ситуации повторяются. А вся нелепость, что они несут, и ею же восторгаются, она мне так скучна, как вот та картина, что за окном.

— Ну, так же тяжело, без юмора.

— Юмор бывает разный... Вы, Павел, развлекайтесь, у вас возраст такой, можно еще, — Анатолий Егорыч откинулся в кресле, повернул голову и закрыл глаза.

В стекло из бушующей тьмы ударили белые вскипевшие капли. Словно бы наискосок скользили и струились огни. Из сумрака тесного салона появилась алюминиевая кружка, ее передавали из рук в руки, и отхлебывали каждый понемногу.

— Что там? — на всякий случай спросил Павел.

— Водка там. Выпей. Мы на трупный выезд всегда немного принимаем, иначе тяжело становится. Настроение портится потом на несколько дней.

— Нет, не буду, спасибо. Смотреть на них у меня профессия, тренировка присутствует.

— Ну, смотри, дело хозяйское. Работаю уже восемь лет, все привыкнуть не могу, — сам себе сказал пожилой полицейский. — Никакой тренировки не хватает — был человек, а теперь его нет. Тело есть, но не двигается. Спит, холодный, и не дышит. А вы — ребята привыкшие, получается. Дед-то твой, знаю, поддает иногда, разбуди его, может, он будет.

— Не трогайте, пусть отдыхает.

— Ну, смотри, не застрячь бы там из-за него.

— Из-за него уж точно не застрянем.

Лодка замедлила ход и, кивнув корпусом, уткнулась в пристань. Открылся потолочный люк, по очереди потянулись люди. Сразу закуривали на палубе. Немного погодя стали принимать конфискованную рыбу, заполняя мешками ряд сидений. Старик безмятежно спал, убаюканный качкой. Павел подвинулся к нему.

— День прошел не зря, рыба есть, — похлопывая по мешку, улыбался молоденький полицейский. — Сейчас приедем, свежатины поедим. Сегодня изъяли, а девать куда? Мужики уже на рыбу смотреть не могут, а нам в охотку.

— Приедем, поделим, — укутываясь в шинель, проворчал усатый капитан.

Уставшие мужики быстро уснули. Лодочник, сидящий в отдельном коконе, спрятанном в начале катера, рулил, петляя по водной извилине. Холодало уже по-зимнему и казалось, что жизнь тоскливо замирает, сдавая обороты. Павел не заметил, как и сам погрузился в сонный морок, где мелькали листья, папки и полицейский прыгал на одной ножке и повторял: «Стой на месте, руки в тесте».

— ...вместе.

Катер вздрогнул и подался назад, туго забурлив под днищем.

— На месте, — констатировал кто-то из темноты.

— А ехать бы так и ехать, — отозвался другой.

Люди разминались, судорожно громко зевали и тянулись в звездный проем люка. Пристань наполнилась шлепками шагов. Павел и сонный Егорыч последними загрузились в переполненную машину. Потом долго прыгали на ухабах, а в немых окнах качался мрак.

Новогодней елкой вспыхнули глазницы окон. Казалось, деревенские дома вкривь и вкось разбросаны во тьме.

Остановились на окраине. Изба, вросшая по окна в землю. Во дворе топтались угрюмые люди. Женщины, укутанные в платки, обнимали друг друга и натужно рыдали. Мужчины молча дымили папиросами. Пахло корвалолом.

Заскрипели двери, отворился свет в ночи. Круглолицый капитан, поправляя ремень, вышел во двор и встал напротив окруженной женщинами старушки. Он погладил усы, раскрыл планшетку и, не глядя в глаза старухе, скупым формальным языком начал проводить допрос.

— Чего? — не понимала и пугалась женщина.

— Ничего, проехали.

— Чего?

— Когда вы его видели в последний раз?

— Вчера вечером.

— В котором часу?

— Не знаю, для меня и время остановилось. Мил человек, не знаю.

— Хорошо, он был трезв, когда вы его видели в последний раз?

— Нет, милок, пьяный он был. Два дня как вернулся с города и уже не просыхал!

— А где мужчина, который его труп нашел?

Вдруг старуха взвыла и, расталкивая людей, кинулась бежать куда-то в темноту. Женщины пошли на плач. Круглолицый полицейский сердито захлопнул планшетку, оглядел оставшихся людей и направился к бане. Перед баней стояли двое: участковый и оперативник. Круглолицый, не обращая на них внимания, прошел в предбанник.

— Парни, пошли рыбу готовить, — белея лицом, вынырнул из тьмы белоусый капитан. — Участковый пусть останется с «трупниками». Сумка с водкой у меня! — важно скомандовал он и обратился к Павлу с Егорычем. — Ребята, как закончите, приходите, ждем. А изба у вас отдельная, отдохнете.

Джасур Исхаков

Ночь жёлтой луны

Рассказ

Ну и денек сегодня выдался! Мама в записке попросила Тимура сделать базар, приложив список и деньги, сходить в кассу заплатить за квартплату, навестить в больнице брата мамы Ахмаджон-ака. Кроме этого Тимуру пришлось выстоять очередь в плановом отделе, съездить в институт, получить справку в деканате, взять нужные книги в библиотеке. Все это было в разных концах города. А день, как назло, выдался жарким и душным. Ахмаджон-ака, лежавший в кардиологическом отделении 17-ой горбольницы, никак не хотел отпускать племянника, хотя Тимур объяснял ему, что может опоздать на поезд. Он вышел из ворот больницы и единственным его желанием было поскорее залезть в вагон, подняться на верхнюю полку и крепко заснуть.

...Он доехал на троллейбусе до привокзальной площади и быстрым шагом направился в здание вокзала. Зашел в вестибюль, сбежал по ступенькам вниз, но подземный переход был наглухо заколочен досками, где красовалась надпись: «Ремонт». Тимур поднялся наверх, вошел в зал ожидания, прошел на перрон через ресторан. На первом пути стоял скорый московский поезд. Оживленные пассажиры и провожающие целовались, прощаясь, весело переговаривались, слышался смех. Скрипели тележки шустрых носильщиков, проводницы торопили пассажиров, приглашая их пройти в вагоны.

...Это не был фирменный поезд. Тот состоял из темно-бордовых вагонов с надписью: «УЗБЕКИСТАН». Тимур вдруг с легкой грустью вспомнил, как они пять лет назад ехали в фирменном поезде в Москву. Ковровые дорожки в коридоре и купе, шелковые занавески на окнах, янтарный чай в мельхиоровых подстаканниках с рельефным изображением несущегося тепловоза. Приветливый проводник, молодая пара — соседи по купе, — очередь в туалет по утрам с зубными щетками и полотенцами через плечо, приятная музыка из динамиков. Как же это было давно и вроде бы совсем недавно! Кто знал, что это будет их первая и последняя поездка с отцом? Отец ехал на съезд работников легкой промышленности и взял с собой Тимура. На второй день пути они пошли в вагон-ресторан. Отец заказал для него бутылку лимонада «Буратино», а для себя сто грамм водки. Официантка в белом маленьком накрахмаленном

Джасур Исхаков родился в 1947 году в Ташкенте. Драматург, кинорежиссер. Автор рассказов и стихов, по его сценариям снято более тридцати документальных фильмов, шесть мультипликационных картин, ряд сюжетов для сатирического киножурнала. Живет в Ташкенте.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 10.

кокошнике улыбнулась и сказала: «Приятного аппетита!» Они ели вкуснейший украинский борщ с чесночными пончиками и котлеты с рассыпчатым рисом...

...Искаженный многократным эхом голос диктора вернул его в сегодняшний день. «Продолжается посадка на поезд “Ташкент—Кунград”. Пассажиров просим пройти на четвертый путь!» Чтобы попасть на четвертый путь, Тимур нужно было пройти весь перрон и еще три вагона, и поэтому он, как и многие, полез под вагон московского поезда, стараясь не порвать рубашку на спине. Потом пойти по скрипучим мосткам. Этот маршрут ему был хорошо известен. Последние три месяца он работал курьером в строительном поезде, который находился в длительной командировке, в строящемся молодом городе Навои. На эту работу его устроил Ахмаджон-ака, который до пенсии работал начальником в Стройтресте. И Тимура под свою опеку взял новый начальник Стройтреста. По трудовой книжке он числился помощником отдела снабжения. Но по сути, он был курьером и раз в десять дней обязательно ездил в Ташкент, в головную контору, передавая отчеты и другую документацию. А назад забирал распоряжения, приказы и чертежи. В прошлом году ему не хватило двух баллов для поступления в Политехнический институт. И он перевел документы на вечерне-заочное отделение по специальности инженер холодильных установок и вентиляционных систем. Начальник Стройотряда Абдумаджит Усманович особенно не загружал его работой, и в свободное время Тимур занимался, читал книги по будущей специальности.

...Поезд «Ташкент—Кунград» был полным контрастом Московскому литерному. Старые плацкартные вагоны, давно исчерпавшие сроки использования: мутные стекла, замызганные туалеты с черными от старости унитазами и раковинами, обшарпанный линолеум полов, худые матрацы и подушки с подозрительными пятнами. Ко всем недостаткам именно этот поезд был самым медленным на Средне-азиатской железной дороге. Он стоял на всех разъездах, пропуская вперед не только пассажирские, но и товарные длинные составы. Но Тимур приходилось ездить именно им. Дело в том, что только этот поезд делал двухминутную остановку на малюсенькой станции Кермене. Она была ближайшей к городу Навои. Город еще не имел ни аэропорта, ни собственного вокзала. Перрон четвертого пути еще только строился, и поезд стоял, словно голый. Чтобы подняться с щебенки на решетчатую ступеньку подножки вагона, надо было сначала ухватиться за поручень, подтянуться, преодолеть три ступеньки и потом войти в тамбур. Даже для здорового человека это представляло немалую трудность. Пассажиры, ругаясь, влезали в вагоны. «Хоть бы ящик поставили, что ли!» — раздраженно говорил кто-то. Пахло креозотом, выхлопами тепловоза, дымком маневрового паровозика.

Тимур увидел у четвертого вагона странную толпу. Около дюжины пожилых женщин беспомощно и растерянно переминались с ноги на ногу на щебеночной платформе, ожидая своей очереди. Молодая женщина в черном заношенном халате и с косынкой на лбу кричала высоким раздраженным голосом: — Ну что, старая телега, давай, двигайся! Ногу поднять не можешь? — она пыталась подсадить довольно полную женщину, чтобы та дотянулась до первой решетчатой ступеньки подножки вагона.

— Прости меня, Зоенька, сил нету, — крихтя и плача верещала старуха. Наконец ей удалось влезть на первую ступеньку, а из тамбура ее за руку уже тянули проводницы и молоденькая девушка.

— Давайте, давайте, Ольга Степановна! Вот и хорошо!

Старуху втащили в тамбур. Та выдохнула, перекрестилась. «Слава Богу!» — и скрылась в темноте вагона. А женщина в черном халате, вытирая со лба пот, уже подсаживала другую старушку.

— Ну давай, мать, опоздаем, поезд уйдет!

Рядом виднелась горка старых потертых чемоданов, больших узлов, мешков и ручная швейная машинка «Подольск». Старые женщины были одинаково убого одеты. На некоторых одежда висела как на вешалке. На других — наоборот, была тесной, словно с чужого плеча. Тимур прошел мимо. В нос ударил тот специфический запах, который трудно выветрить, — запах старости и нищеты. А женщина продолжала кричать:

— Ираида Семёновна, ну помогите же мне! Держитесь крепче! Зуля, чо рот раззявила, тяни же ее!

Тимур подошел к проводнику третьего вагона. Тот стоял, равнодушно наблюдая за посадкой в четвертый вагон.

— Можно я в вашем вагоне поеду? — спросил Тимур. — Я доплачу.

— Не получится, парень, комиссия из ОБХСС по дороге рыскает. Советую свое место занять, как в билете у тебя написано.

— А кто эти? — кивнув головой в сторону четвертого вагона, спросил он проводника.

— Дом престарелых переезжает. Куда-то под Бухару... Несчастные люди... — Он высыпал на ладонь насвай, закинул под язык и, уже шепелявя, добавил: — Не дай Бог до такого дожить...

Тимур вернулся к своему вагону. Осталось только пять женщин.

— Зоенька, ласточка ты наша, что бы мы без тебя делали? — причитала очередная старушка.

— Достали вы меня все! — раздраженно кричала Зоенька, подсаживая старушку в вагон. — Ох уж и костлявая ты! Одни ребрышки!

Ожидая в сторонке, Тимур закурил. В это время раздался голос диктора: «Поезд “Ташкент—Кунград” отправляется с четвертого пути через пять минут! Провожających просим покинуть вагоны!»

— Вот зараза! — истошно закричала Зоя. — Что ты как столб стоишь? Кляча старая!

Тимур не выдержал:

— Что вы на них орете как собака?

Женщина оглянулась на него.

— Не вмешивайся, барчук! — зло крикнула она. — Лучше бы помог! Или испачкаться боишься?

Уставшая проводница волновалась:

— Ой, девочки, давайте скорее, отстанем же мы!

Тревожный тепловозный гудок словно подтолкнул Тимура. Он подошел и с легкостью посадил одну из старушек. Проводница и молоденькая девушка тут же приняли ее. Вдвоем дело пошло быстрее. Тимур и та, которую он назвал «собакой», уверенно затолкали в вагон остальных женщин. Снова пронзительно прокричал паровозный гудок. Молоденькая девушка крикнула:

— Теть Зой, вещи-то, вещи остались!

Женщина бросилась к вещам. Подняла тяжелый чемодан. Тимур выхватил его из рук и передал наверх в тамбур. Так же цепочкой они перекидали мешки и узлы.

— Вот барахла-то набрали! — облизывая пересохшие губы, говорила Зоя.

Поезд дернулся и начал медленное движение. Они успели закинуть последнюю сумку. Поезд набирал ход. Тимур схватил за талию Зою, посадил ее на подножку.

— Машинку, машинку забыли! — истошно закричала Зуля.

Тимур подбежал к стоящей на щебенке машинке, схватил ее и стал догонять, набирающий скорость вагон. Передал «Подольск» в руки женщины, подтянулся и запрыгнул в тамбур.

Эвелина Азаева

Полукровка

Рассказ

В жизни полукровок самое главное — выбрать, с кем ты. С папой или с мамой. Ну, какой ты национальности. Нет, конечно, можно (в теории) быть в равной степени представителем того и другого народа, но практика показывает, что не всегда это работает. Есть такие тяжелые случаи, что надо все-таки выбрать и идти уверенно одной лишь колеей.

Вот, например, ты помесь русской и чеченца. Обычаи и нравы этих народов настолько разные, что быть тем и тем одновременно просто-таки не полезно для психического здоровья. Чеченцы требуют строгого соблюдения своих традиций, и если ты уклоняешься, значит не чеченец. Русские, если ты вдруг начнешь проявлять чеченские замашки, тоже удивятся. Нет, они не станут к тебе плохо относиться — народ имперский, терпеливый, но в твоём присутствии, как бы ты ни бил себя в грудь, что в паспорте написано «русский», время от времени будут говорить: «Знаешь, а чеченцы — хороший народ. Вот у нас парень в армии был...»

Однако если ты выберешь одну сторону и будешь ей строго следовать, то всё, никаких проблем у тебя не будет. Чеченцы не будут обращать внимания на твою русскую кровь и признают за своего, русские забудут про кавказскую кровь и тоже будут считать своим.

Другое дело, если в тебе намешаны еврейская кровь и какая-то иная. Пусть будет русская, для примера. Тут тебя не примет до конца ни одна сторона. Для евреев, если мама не еврейка, ты не еврей. Для русских ты — «с прожидью». Не для всех, но все же. Нет, никто не будет тебя обижать, а некоторые будут и любить, но в определенные моменты, моменты истины, так сказать, на тебя будут обращать пристальные взоры. И в итоге ты ощутишь, что до конца никому и не свой.

Так грустно думал Тони о своей судьбе. Судьбе человека с ярко выраженной еврейской внешностью — от папы — и золотым крестиком на шее под рубашкой — от мамы. Той самой мамы, которая, по совету своей сестры, кандидата исторических наук, назвала его Антонием или, в просторечии, Антоном. В Тони он переделался, когда эмигрировал в Канаду.

Антон вырос с русскими мамой и тетей. Они его воспитывали вдвоем, отец где-то растворился сразу после рождения. Соответственно, мальчик рос русским. Несмотря на советское время, его окрестили и учили обычным христианским

Эвелина Азаева — журналист, корреспондент «Комсомольской правды» в Канаде. Родилась в 1970 году в Алма-Ате, окончила журфак КазГУ. Работала собкором «Комсомольской правды» в Сибири. До конца 2017 года издавала газету «Комсомольская правда в Канаде» на русском языке, с 2018 — на английском языке. Автор сборников рассказов «А хочешь в Канаду?» и «Полное накрытие». Печаталась в журналах «Аврора», «Нева» и др. Живет в Торонто. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

добродетелям, которые удивительным образом (это он уже во взрослом возрасте заметил) совпадают с коммунистическими: не ищи легких путей, будь честным и принципиальным, не лукавь, защищай слабых, не лебези перед сильными, деньги — не главное...

Мальчик рос шустрым, любознательным, любил играть с мальчишками во дворе. Однажды в разговоре сказал: «Мы, русские...» (в войну играли), и один из друзей поправил: «Ты не совсем русский, у тебя папа еврей». Без зла сказал, констатировал факт. Антон уверен, что дружок и не знал, кто такие евреи, а просто слышал от взрослых, что у его мамы, Людмилы, был парень-еврей. Во дворе все знали, кто с кем встречался.

Антон стал искать информацию о евреях. Интернета тогда не было, но он нашел ее в библиотеке. И с тех пор читал и читал о них. Пока не превратился в законченного, домашнего «сиониста» (так он сам себя называл). А почему? А потому что, во-первых, ему, русскому мальчишке (а он ощущал себя именно таковым, других перед его глазами не пробегало), было интересно, что он такой вот особенный, не как все — еврей, представитель Ближнего Востока — жаркого, экзотического. Во-вторых, он начитался о том, какие евреи талантливые, и что вообще народ избранный, и... ну, приятно же было в это поверить! Кому не приятно знать, что он из ряда вон уже по самому факту своего рождения? А еще писали, что народ гонимый и нуждается в постоянной защите.

Тринадцатилетний Тоша (так его звали дома) понял, что он — тот самый Давид, который призван сражаться с Голиафом.

И вот тут начались первые проблемы. Мама с тетей не разделяли его убеждений. Тетя говорила обидное: «Сколь волка ни корми...» — и вздыхала. Дед ругался, не выбирая выражений. Мама тогда вступилась, плакала. В общем, скандал был до потолка.

Мама вступилась, но потом пеняла, что Тоша неблагодарный, что она его растит одна, без алиментов, а отец где-то шляется по свету, Родину не любит, в общем — сволочь. И чем ей сын отплатил? Да, говорила мама, в том, чтобы быть евреем, нет ничего плохого. Но это если у тебя мама и папа евреи. А если у тебя мама русская, тетя русская, дед русский, и все они тебя растят и на золотом блюде носят, а ты вдруг выбираешь вторую половину, которая «перекати поле» и неизвестно где обретается, о тебе не заботится, то это свинство.

Антон обнимал маму и чувствовал вину. Но желание быть особенным, так свойственное подростку, все же возобладало. К этому располагала и внешность — ну не видел в ней паренек славянских черт. И дожив до девятнадцати лет (в армию не был взят из-за плохого зрения), он окончательно сформировался как еврей. Так он считал.

И тут объявился папа. Из Израиля. Он позвонил и сказал, что может сделать мальчику документы для переезда в эту страну.

Мама ходила в ОВИР, просила сына не выпускать. В квартире пахло валерьянкой и разбитыми надеждами, дед перестал с внуком разговаривать. Но Тоша уехал.

И с тех пор ни разу не виделся с мамой. Чего не может простить себе до сих пор. Все умерли без него, через семнадцать лет после отъезда. Один за другим. Но пока были живы, любили его, не обижались, с любой оказией присылали весточку и подарки.

Антон же в Израиле приехал к отцу, в его новую семью, и быстро понял, что он там не нужен. Отец был ласков, но его жена и дочери тяготились гостем. Перебрался в кибуц. Там кормили, обучали ивриту... Потом попал в армию. И не просто в армию, а на войну. Участвовал. Несмотря на плохое зрение. И не сказать чтобы чувствовал, что его за своего не принимают. Нет, внешность помогла, он не ощущал дискриминации. Там он еще больше укрепился в своем еврейском патриотизме.

Который горел ярким пламенем до тех пор, пока он не захотел эмигрировать в Канаду. Израиль душил его своей жарой и маленькими размерами. У парня, выросшего в Питере, было чувство, что он перебрался в Ташкент. К тому же там постоянно происходят теракты и, женившись (на такой же полукровке), он решил, что лучше

Арина Обух

СВОБОДНЫЙ ПЕРЕУЛОК

Рассказы

Nie spoczniemy

Вся страна плакала, провожая медведя в небо.
Женщина написала из роддома мужу: «Ну вот, из-за этих родов я так и не увидела Олимпиаду!..»

Сразу после Олимпиады у нее родился мальчик.

Этому мальчику уже сорок лет, и он рассказывает:

— Октябрьёнком был, пионером был, в Ленина и в бревно верил.

...Я смотрю Олимпиаду-80 в 2020-ом. Люди глядят на медведя и плачут, я гляжу на людей и тоже плачу.

У старой пленки еще цвет такой, приглушенный, цвет воспоминания.

Люди, это ж медведь. Чего мы с вами плачем?

Драгоценные какие-то люди. Люди-ретро.

И даже мой парень — ретро.

Я люблю его уже пять лет. Он старше меня на сорок один год (эта разница с каждым годом уменьшается). Он писатель. Он талантлив, красив. Он великолепен. Я знаю наизусть все его слова. И праздную его день рождения несколько раз в год. Его зовут Джек Гамбарделла. У него только один минус: он не существует. Точнее, существует, но в кино. В фильме «Великая красота».

А еще мне нравится парень в белом клёше. Он поет песню под названием *Nie spoczniemy*. То есть «Не успокоимся». Любимая песня поколения 70-х.

А в один прекрасный день прошлое вдруг засияло ярко-красной головой голландского сыра. Сыр лежал на обеденном столе и ждал, когда о нем заговорят:

— Знаешь, я всегда мечтала, чтобы сыр...

— Ты уже говорила.

— Нет, чтобы сыр был круглый и в красной оболочке.

— Говорила уже четыре раза. Сейчас скажешь про лису.

— Да, в детской книжке была такая иллюстрация: лиса ела от куска. Красная голова круглого сыра, и лиса откусывает. Я всегда смотрела и тоже так хотела.

Арина Обух — прозаик, художник. Родилась в 1995 году в Санкт-Петербурге. Выпускница Художественно-промышленной академии им.А.Л.Штигица. Автор книг: «Выгуливание молодого вина», «Муха имени Штигица». Печаталась в журналах «Звезда», «Дружба народов», «Знамя», «Юность». Лауреат ряда литературных премий.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 3.

В сказке мишки делили сыр. Лиса им помогала: откусывала, чтобы им было поровну, и все время промахивалась. В конце концов она почти все съела.

Мишки — лохи.

В жизни иногда чувствуешь себя таким мишкой. То есть хочешь справедливости и обращаешься за добрым советом к лисе, отдаешь ей свой сыр, смотришь, как она его ест, потом наблюдаешь, как она уходит, вертя хвостом. Красивая и сытая падла. И ты ощущаешь себя мишкой. Бесконечным мишкой в бесконечном дремучем лесу.

А потом живешь, периодически репетируя правильный ответ для лисы. То есть вся твоя жизнь — это репетиция к закончившемуся спектаклю. И еще ты всю жизнь мечтаешь тоже есть от куска (как лиса), — и чтобы сыр был именно круглым и в красном панцире.

Она пятый раз пересказывает мне эту сказку.

Затем берет сыр и демонстрирует мне наглядно: «Вот так я всегда мечтала». Она в образе лисы задорно откусывает и вытягивает руку с сыром в сторону, словно показывая мишкам — вот, мол! Еще укус. Еще укус.

Этот сыр мы купили за три тыщи рублей. А она его кусает со всей легкостью бытия. Пытаюсь сказать что-то против такого беспечного пожирания трех тысяч рублей.

— Остановись! Ты ешь три тыщи!

— Этот кусок стоит тысячу восемьсот, — отвечает она и снова откусывает.

— Перестань! Опять ты пятьсот рублей откусила!

— Моя мечта дорогого стоит.

А виной всему советский художник-анималист Евгений Рачёв. Он так проиллюстрировал венгерскую народную сказку, что она тут же стала русской народной. Вошла в состав крови и жизни.

— Пожалуй, это моя первая советская мечта, которая исполнилась, — говорит моя визави.

Это была мечта о легкости. Не о сыре.

Мечта родилась еще в СССР. Такого сыра там не было, но его могли достать лисы. Сыр, джинсы, жвачка, кока-кола...

— Набор предателя, — усмеваются мишки. — За это мы родину продали.

Продали родину и переехали из Ленинграда в Петербург.

Теперь они живут в ленинградском Петербурге.

Рассказывают, где стояла «Девушка с веслом» и где находился легендарный «Сайгон». Где было ателье женской одежды «Смерть мужьям!», а где — кафе-мороженое «Лягушатник». И снова всё по кругу.

Nie sprznięty. Nie uspokojmy.

Короткометражки

1. Два человека для масштаба

Город, ветер, двое на «вы».

А на часах уже два ночи. Еще пятнадцать минут — и всё. Они просто гуляют по городу и разговаривают.

Три часа ночи. Ладно, еще пять минут...

Еще пятнадцать минут — и решительно всё.

Четыре часа. Ей хотелось лечь пораньше, но она дождалась титров.

Профессионалы всегда читают титры. Она не была профессионалом. Но прочла.

Марк Марченко

...И пусть остальное добавят потомки

Рассказ

Этого человека с трагической судьбой, которого местные за эксцентричные выходки и неизменный внешний вид с улыбкой и за глаза называли «Мистером в шортах», звали Алан, о чем уже позднее я узнал от доктора Джоффри Стивенсона, и впервые я встретил его в читальном зале Национальной Библиотеки Шотландии. Рослый, молодой, светловолосый, одет он был легко и даже неподобающе для такого места: спортивные шорты, безрукавная жилетка, за спиной — черный рюкзак, на ногах — тяжелые армейские ботинки. То, сколько книг он заказывал, казалось выходкой еще более вопиющей: от стойки он уходил со стопкой в дюжину толстых томов, которые аккуратно, в обеих руках, громко пыхтя, нес на верхний ярус зала. Там он раскладывал книги по всему столу и, шумно вздыхая, принимался читать одну за другой. Окружающие старались игнорировать его, хотя кто-то нет-нет да бросал нахмуренный взгляд, а персонал библиотеки, судя по всему, хорошо его знал, из чего я сделал предположение, что Алан был тут завсегда.

Позже, прогуливаясь прохладными вечерами после лекций в душных университетских помещениях, я встречал его на центральных улицах города: он то молча, вооружившись двумя бутылками воды, вышагивал по одному ему известному маршруту, то приходил на один и тот же перекресток, с одной стороны которого раскинулись сады Princes Street, с другой же располагалось величественное здание Нового Колледжа с огромными коваными воротами, и начинал неразборчиво и злобно выкрикивать какие-то призывы в адрес то ли прохожих, обходящих его стороной, то ли самого здания. Я бывал там нечасто — я приехал изучать философию в университете Эдинбурга, а здание Нового Колледжа было исторической обителью факультета богословия и семинарии. Временами, однако, я ловил себя на том, что мне хотелось с ним встретиться — неужели чтобы послушать его или посочувствовать ему, или присоединиться к его обвинениям (я не разбирал слов, но, судя по тону, это были именно обвинения)? Однажды, когда я проходил мимо и, поравнявшись с Аланом, приготовился дружелюбно кивнуть и поздороваться, я перехватил его взгляд: это был взгляд не безумца, не городского сумасшедшего, ради потехи веселящего или

Марк Марченко родился в Москве, окончил Московский университет им. М.А. Шолохова, факультет «Европейские языки и культуры». Учился в магистратуре Эдинбургского университета, пишет эссе и прозу на русском и английском языках. Живет в городе Эдинбург, Соединенное Королевство.

Предыдущая публикация в «Дружбе народов» — 2020, № 6.

распугивающего толпу, нет, в его взгляде была необъяснимая, ужаснувшая меня своей мощью боль, сводившая, судя по всему, его с ума. Я смотрел в глаза испытывшему помешательство, страдающему от страхов и мании преследования, глубоко несчастному и от чувства жалости утерявшему последние остатки рассудка, — Алан был не таким. В его глазах было понимание, осознание своей участи, скрытое пеленой непереносимой боли и слез.

Прошло несколько месяцев с начала моей учебы в Эдинбурге. Я продолжал встречать Алана, но у меня не хватало духу остановиться и расспросить о его истории, хоть меня и одолевало любопытство; он же всегда был сосредоточен на своих мыслях и часто просто не замечал моих вежливых приветствий на улице, а когда он раздражался громогласными тирадами в сторону семинарии, предпочитал не прерывать их на то, чтобы ответить мне. С наступлением декабря я, как и все студенты, перенял привычку обвязывать шею длинным темно-синим шерстяным шарфом с гербом нашего университета и гордой цифрой 1582 и проводить вечера в Teviot House, большом университетском замке с фотографиями основателей студенческих сообществ на стенах и кубками за спортивные достижения в стеклянных витринах — в уютной и просторной зале первого этажа за книгой и чашкой чая с имбирем. И даже когда в Эдинбурге ветер едва ли не срывал балконы верхних этажей домов и к всеобщей радости студентов из более теплых стран шел снег, Алан все равно продолжал появляться на улице в спортивных шортах и жилетке.

Однажды я зашел в магазинчик Armchair Books, торговавший подержанными и антикварными книгами, и в самом дальнем зале наткнулся на несколько томов с отчетами о выпускниках нашего университета. Альбомы эти были старые, потертые, обернутые в кожу, и, открывая их, я будто прикасался к истории. Я нашел альбом своего факультета, выпуск 1982 года, и ближе к середине тома обнаружил несколько цветных страниц со снимками студентов и преподавателей. Что-то заставило меня остановиться и начать рассматривать слегка пожелтевшие фотографии; внезапно в одном из молодых студентов-выпускников я узнал Алана. Я не поверил своим глазам: прошло почти сорок лет, а он едва изменился. Всё те же светлые волосы, хмурое выражение лица, крепкое телосложение — здесь он был одет, как и все остальные, в строгий серый костюм, но перепутать было невозможно: разница между двумя каплями воды и то заметней.

Я обратился к продавцу: тот подтвердил подлинность альбома. Откуда в коллекции его книжной лавочки взялся этот экземпляр, он не знал. Я с его позволения сделал снимок страницы с фотографией, а также с именами профессоров кафедры в надежде найти хоть кого-то, кто преподавал у Алана (тогда я встретил это имя впервые, на подписи к фотографии; несмотря на разительное сходство портретов, я все еще думал, что это мог быть его отец).

Доктор Джоффри Стивенсон оказался единственным, кого я смог разыскать: поиски остальных преподавателей оканчивались либо на некрологах в местных газетах, либо на печальных «увы, их с нами больше нет» их детей и внуков. Перед тем как отправиться на поезде в небольшой городок в полчасе от Эдинбурга, на полпути к Стирлингу, я провел свое небольшое расследование: Гугл выдал несколько страниц форумов, где студенты обсуждали странные манеры Алана, и кто-то даже поделился рассказом о том, как ему удалось разговориться с ним о поэзии и истории, но ничего конкретного о его личности или прошлом выяснить не удалось. Создавалось впечатление, что Алан появился в Эдинбурге из ниоткуда и был тут совсем один, что подтвердило мою мысль, что тех, кто хоть что-то о нем знал, уже просто нет в живых.

Анастасия Трифонова

Контур человека

Тире

На жёрдочке, как певчий кенар,
свистит и прыгает весёлое житьё.
Такое многоклеточное тело
окажется ничьё

и растворится, не оставив
надежды повторить по нотным образам
такое пение: до белого незнания,
до чистоты в глазах.

* * *

Наискось погнута плоскость
в казимировых полях,
контур человека остр,
остры зубья на граблях.

Градиентная, как Марфа,
треугольный геометр,
сквозь траву плыву — не барка,
женщина в расцвете лет —

в жерло жатвы поднебесной.
Жилка бьётся, будто рыбка
золотая, говоря:

и тебя похоже выгнут
повседневность, повсеместность,
полосатая земля.

Трифонова Анастасия Владимировна — поэт, филолог. Родилась в 1987 году в Смоленске. В 2010 году окончила Смоленский государственный университет, кандидат филологических наук. Работает учителем. Публиковалась в журналах и интернет-изданиях «Юность», «Вопросы литературы», Prosodia, «Кольцо А», «Формаслов», в антологии «Современный русский свободный стих». Живет в Смоленске. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

На своё сорокалетие

Фотографии в стенке
безусловны, как брачный сон,
родословные слепки
в чёрно-белом дыму отпечатков пальцев
на стекле. Каждодневно
и непреклонно стоим за стеклом
мы с сестрой, мать, отец, бабушка, дед.
И наша праматерь —

знак для неспящего в темноте —
вопрошает у своего народца:
— Не прервёмся?
Вернёмся, прильнём к тебе.
Ничего неспящего не остаётся.

Горечь прошлого — непреходящий кошмар,
не дающий прилечь, забыться и примириться
с песчинкой в носке,
тенью на потолке,
катетером в руке.
Тянет-потянет волынку свою комар,
одинокая птица.

* * *

Когда отец меня из зеркала корит —
рот набок, недовольная гримаса, —
такое разгорается внутри,
что ни вода, ни время не погасят.

Все интонации — похоже говорю,
полупродукт из волевых усилий, —
сплавляются в чугунную хандру,
которую таскать невыносимо;

не разобрать отдельные слова,
молчание на горло не набросить.
Под возмущённый голос голова
отцовскую приобретает проседь,

всё очевидней проявляются очки
и мысль — не осознать, не примириться, —
что копия, хоть в зеркало стучись,
ни в ком не отразится.

Перед Казанской

Я помню глаз
и трещину насквозь,
как будто не доска, а книга разломилась
на том единственно возможном развороте:
ни красок, ни оклада, только глаз,
пронизанный насквозь, насквозь разящий
всезнанием, всеболью, вселюбовью.
Нет рук, лица, лишь полутьма собора
теснит толпу пришедших *ближе, ближе*
и раскрывает сводов полотно —
войди, войди, — а я стою, насквозь —
не в силах самоё себя умерить —
надтреснутая, суетливая душа.

Кари Амирханян «НЕЗАМЕЧЕННАЯ КРАСОТА» АСМИК АВЕТИСЯН

К чисто белому цвету она шла с десяти лет: однажды увиденный белый пейзаж со всеми оттенками белого, поразил и пробудил неожиданную для ребенка просветленность, на многие годы оставшуюся с ней. Сейчас трудно судить, что было для художницы Асмик Аветисян главной причиной такого притяжения к белой палитре. Может, груз штампов и наработанных стереотипов в советском изобразительном искусстве, а может, тяга к безыскусности и тишине, даруемым белым цветом? Так или иначе, но Асмик четко осознала свое призвание: привести в мир новые неожиданные краски.



СКРЫТОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ КОСМОСА СИЯЕТ ГЛАЗУ ИЩУЩЕГО

В любой эксперимент еще до его начала закладывается возможный вариант случайности.

Асмик Аветисян: Мы сидели с художниками и говорили об искусстве, обсуждали, кто над чем работает. И вдруг — как если бы мне вставили чип в голову или нащептали на ухо: «А почему бы и не альбиносы?» Я замерла от неожиданности. Уже спустя какое-то время, когда проект с альбиносами был готов, я отчетливо поняла, что в действительности не я нашла эту тему, а она — меня, и, по сути, то, что ты ищешь, тоже ищет тебя.

Асмик Аветисян делает свой арт. Она в постоянном поиске новых идей и путей развития. Природный дар, унаследованный от родителей (мать — художник, отец — архитектор) и взрощенный на родной земле, помноженный на завидное усердие и тщание, плюс критическое отношение к себе и отказ от того, что другой бы счел богатством, дали прекрасный результат. В своем творчестве она обычно не просто использовала чистые краски, но и продуманно оркестровала холст, сочетая, сопоставляя основной и промежуточные цвета в пределах одного тона. С появлением белого цвета ее письмо обретает какую-то новую свежесть — острую, легкую, щемящую.



Портретная галерея альбиносов — людей и животных (как правило, очеловеченных) — демонстрирует в их лицах немного отрешенное самоуглубление, очищение до некоего идеала. И одновременно — их нежность и застенчивость. Их прообразы — реальные люди разных национальностей. В основном она выбирала людей красивых — все-таки проект был о красоте, непознанной, но открытой ею. И художнице хотелось увлечь всех этим своим открытием.

Пыль Бога

Почти год Асмик писала исключительно портреты людей, лишенных пигмента меланина. (Это важнейший пигмент, отвечающий за цвет кожи, волос и глаз и защищающий от ультрафиолетовых лучей и радиации. Про меланин знали еще в Древнем Египте и называли его «пылью Бога».) По ходу работы эта тема все глубже захватывала Асмик как попытка изучения нового для художницы эстетического опыта. Причастность к неведомому окрыляла, воодушевляла.

Она узнала, насколько кардинально отличается отношение к альбиносам в разных странах, насколько эти люди могут быть внутренне беззащитными и внешне незащищенными. Скажем, в некоторых африканских странах альбиносы обречены на смерть — их истребляют, потому как в местных колдовских практиках из фрагментов тела альбиносов готовят амулеты для привлечения благополучия и удачи. Их даже хоронят в тайных местах, чтобы колдуны не смогли польститься. И в то же время именно в Африке «лунных» детей рождается в десятки раз больше, чем по всему миру.



Асмик Аветисян. «Незамеченная красота». Картины и их прообразы.



Но у художницы помимо сострадания было и желание открыть миру иную, чисто эстетическую составляющую этой «четвертой» расы человечества, напомнить об их существовании, обратить внимание людей на их проблемы. Она пристально всматривалась в лица, постигала характеры. К тому же Асмик хотелось непременно найти местных альбиносов. Где только она ни искала их в Армении, но отыскать удалось лишь восемь человек. Она легко подружилась с ними — некоторые даже пришли на выставку, им посвященную.

Асмик Аветисян: Альбиносы дали мне шанс многое осознать и ответить на многие волнующие меня вопросы. Я поняла, что есть люди, которые несут крест своей судьбы и вынуждены дорого платить за свою уникальность. Причем кто-то, будучи альбиносом, гордится своей уникальностью, а кто-то, наоборот, чувствует себя ущемленным. Совсем как в жизни обычных людей. И надо верить, что человеческий дух растет благодаря переработанным переживаниям. С осознанием происшедшего.



О КРАСОТЕ

Асмик Аветисян: Для меня нет красоты без некой необычности во всем облике человека. У меня сердце сжималось от красоты этих «лунных» людей — и от необходимости ее описывать. Я очень привязалась к ним в душе — они постепенно стали частью моей жизни. Более всего поражал их окрас — прозрачность, с отливом розового, такая инопланетность. Есть художники, которые изображают то, что видят. Я, скорее всего, изображаю то, что поняла. Ясно одно: любой чужой, непонятный для нас мир, имеет право на существование. Это и стало одной из концепций моего проекта «Незамеченная красота. Дети Луны».

«Если не знаешь, что делать, делай то, что знаешь»

Асмик Аветисян: Я люблю переосмысливать прожитую жизнь, передо мной всегда стоит тема выбора. Своими размышлениями я и делюсь в своем творчестве.

То же происходило и перед проектом об альбиносах. После поездки в Париж в 2010 году во мне что-то резко изменилось. Свойственная моим картинам многокрасочность, многослойность и фактурность вдруг как-то исчерпали себя. Вернувшись из Парижа, я ощутила непреодолимое желание творить. Я написала картину, в которой соединилось то, что уходило, и то, что только созревало в сознании. Это был осознанный, прочувствованный выбор. Почти физически я ощущала перемены, происходящие во мне.

В это сложно, наверное, поверить, но я люблю изучать, понимать себя через живопись. И каждый раз, как только случается сбой, как только я перестаю понимать себя, я начинаю писать. И тогда мне становится ясно, что меня волновало. Состояние это похоже на замкнутый круг, круговой оберег — «Если не знаешь, что делать, делай то, что знаешь».



Она собрала все свои картины и в 2012 году сделала ретроспективную выставку: надо было заново полностью осмыслить точность и своевременность выбора. И именно тогда была написана последняя работа Асмик, которая называлась «Возможный финал». Художница поняла, что настал конец очередного этапа.

Прошло какое-то время после на шумевшей выставки Асмик Аветисян в Ереванском Музее современного искусства. Но предложенная художницей тема не исчерпала себя — она требовала продолжения, реинкарнации в иные образы.

«Если...» стал логическим и закономерным продолжением прежнего проекта, посвященного альбиносам. И если первая часть была посвящена «другим», то вторая — настроила фокус внимания на своих, очень близких по духу людях. Произошла своеобразная персонализация героев. Разомкнутая эстетическая метафора философского толка трансформировалась в чувственно воплощенный слепок с фантазии художницы. Но что таилось в этом названии — «Если...»?

Асмик Аветисян: Наша жизнь, как известно, делится на «до» и «после». А между ними стоит «если»: «Если бы не пошла, если бы не сделала, если бы сохранила...» Чтобы осознать этот вопрос и ответить на него, я вновь обратилась к моим «белым воронам». Идея очередной выставки заключалась в том, что я попробовала увидеть знаменитых представителей искусства Армении в облике альбиносов и понять, как это перевоплощение изменило бы их жизнь и отношение к ним. И представьте себе, бомонд, люди искусства в контексте проекта выглядели весьма неожиданно и интересно. Все были приятно удивлены.

Выставка картин Асмик Аветисян, состоявшаяся в 2018 году в Ереванском Музее современного искусства, стала логическим завершением темы альбиносов.

Асмик Аветисян: В процессе подготовки этого проекта изменилась я сама, изменилось и мое мышление — от абсолютного абстракционизма перешла к реализму, приближенному к сюрреализму, даже стала слушать другую музыку: потянуло к космической музыке. Техно. Раньше такая музыка воспринималась мною как шум — нынче же я чувствовала потребность в ней, особенно во время работы.



ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ — КРАСНЫЙ

Она любит часами наблюдать за людьми, писать их лица, руки. Чем разнообразнее люди, тем интереснее. Находясь за границей, Асмик выбирала укромное место и изучала прохожих, присматривалась к пластике их тела, жестам, походке. Но больше всего она вглядывается в лица — для художницы это самая открытая зона для изучения. Лицо, которое вылепила человеку жизнь. Она уверена, что лицо человека говорит больше, нежели его слова: уста высказывают только мысль человека, лицо — его природу.

Асмик Аветисян: Вы не замечали, что цвета, порожденные мыслями, светятся? Я поняла, как важно по жизни отыскать свет и любовь во всем, что тебя окружает. Даже если это беспросветная тьма, все равно надо непременно отыскать свет в конце тоннеля. Иначе никак. Но при этом я люблю ставить сложные задачи, выбирать сложные темы. А после непременно приходит к балансу, равновесию. Жизнь для меня — это когда возникает динамическое равновесие, когда не можешь не творить.

...Я никогда не давала выход эмоциям. Только события последней войны в Карабахе вывели меня из себя — я взяла валик и стала отчаянно наносить темно-алые размывы... Я должна была действовать, и это было мое оружие.

А что если вдруг предположить, что у художницы нет ни одной написанной картины, что она находится в запертой на все замки мастерской и предоставлена самой себе — единственное условие: выбрать одну только краску для созидания. Какой цвет она выберет?

Асмик Аветисян: Пустая мастерская... Ни одной картины... И всего одна краска? Вообще-то я люблю одноцветные картины. Я изучаю и знаю себя через цвета. Люблю создавать картины в одном цвете (я даже стараюсь одеваться в одной гамме цветов). Но при этом нет искусства без контраста, с той только разницей, что контраст должен исходить, как это было у Караваджо, изнутри.

Любое душевное состояние способно отразиться в одном цвете. В самой скупой гамме всегда таится сдерживаемая энергия. И если мне придется выбирать в предложенной безвыходной ситуации, то я выберу уже не белый. Это будет, скорее всего, красный. Тот красный, который несет с собой добро, торжество. Это что-то очень хорошее, это победа и торжество в творчестве — и в жизни тоже. Столкнувшись с «чистым листом», я услышу вибрацию Космоса и начну творить.







Асмик Аветисян с художницей-мультипликатором Нарой Мурадян



На выставке «Незамеченная красота»

О революции и вязальщицах

Два письма на одну тему

Геннадий Прашкевич

О новом разделении человечества

Дорогой Алексей!

Что ни говори, многие (если не все) мечтают о прекрасном завтрашнем дне — чтобы все здоровые, счастливые, умные; и чтобы равенство, свобода, а ко всему этому — прекрасное искусство, никаких обид, насилия. Все лучшее — всем и сразу.

Но все-таки отнюдь не самая малая часть таких мечтателей ждет для себя (именно для себя) равенств и свободы чуть больше, чем будет дано другим. Понятно, начнутся споры и стычки. Дело обычное. Да и опыт (мировой) есть: самых «свободолюбивых» отправлять в дальние края, где без трудностей не проживешь.

Работа делает свободным. Тоже ведь мировой опыт.

И с искусством не без проблем. Сколько можно любоваться безрукими венерами, — мы давно хотим совершенства! Хватит с нас обаятельных императоров, красавцев-королей, диктаторов, массово сгонявших счастливых в создаваемое для них будущее. Не пора ли разобраться с великими подделками? Вот амфора с печаткой: *третий год до нашей эры!* А вот памятник Оскару Уайльду в Лондоне работы Мэгги Хэмблинг — напоминающий исключительно о духовном уродстве писателя, и статуя Иоанна-Павла Второго в Риме, подчеркивающая духовное и физическое несовершенство святого, и мемориал Альберту Эйнштейну в Вашингтоне — бедность, бедность...

Впрочем, когда искусство утверждало равенство и свободу?

Разве дух египетских скульптур — дух равенства? Разве китайские терракотовые воины — символ свободы? А Давид с мечом (Донателло) и Давид с камнем для пращи (Микеланджело) — неужели они думали о равноправии? Сотни тысяч художественных работ за пышной своей победительной ложью (как амфора с той пресловутой печаткой) с давних пор прячут, прикрывают отчаяние поколений, всеми способами

пытавшихся прорваться в будущее. Невидимая, неслышимая, тщательно скрываема информация только просачивается во все слои общества — как нечистые грунтовые воды, беспокоит, подсказывает смутные сны. Зло ведь не обязательно украшено рогами, оно не всегда грязно-мохнатое и с оскаленной пастью. Статую Люцифера, установленную в Соборе Святого Павла в Льеже называют — Гений зла, а ведь сама по себе она прекрасна.

И все же она — статуя Люцифера.

Значит, правы те, кто требует общей зачистки мира?

Значит, революционеры, готовые опять и опять менять мир, призваны свыше? Распахнуть настежь мир, впустить свежий воздух, разнести на мелкие осколки бесчисленные (как правило, двусмысленные) памятники, сжечь портреты, прототипы которых никогда не были примером нежности и добра. О чем нам каждый час, каждую минуту долбят с телеэкранов? «Из пистолета музыканта Ш. убито девять человек...» «Тело адвоката Ф. найдено возле собственного дома...» «Две близкие подруги разбивают семьи друг друга...» «Звезда студенческого баскетбола зарезана в постели любовника...» Или совсем уж сложный сюжет: «К. обвиняет Л. в шантаже, потому что Л. хочет рассказать П., что его жена была любовницей его друга...»

Это и есть будущее, к которому мы стремились?

Шайка карточных шулеров... Любовница президента... Повара ножами оспаривают крупный денежный приз... Неужели даже Адам пал жертвой подобного мышления? Неужели не попавшие на борт ковчега твари (чистые и нечистые) тоже стали жертвами заговора? Как же так? Выходит, нам действительно не обойтись без очистительных революционных переворотов? Сам воздух, насыщенный нашим дыханием, сама вода, которую мы пьем, зовут нас на баррикады.

Сейчас и здесь!

Революция — это не повара, ножами оспаривающие крупный денежный приз.

Не случайно именно революция, как огонь, притягивала и притягивает тех, кто о ней услышал. Не случайно вокруг гильотин в революционной Франции первыми рассаживались *вязальщицы* — самые обыкновенные женщины, для которых в наше время пишут и снимаются телепрограммы, цитировавшиеся выше. Этим милых женщин (ничуть не фурий) так и называли — вязальщицы Робеспьера. Тихие домашние женщины революционной Франции, милые ревностные сторонницы защищающей их диктатуры, они, улыбаясь, занимали места рядом с гильотиной — с неизменным рукоделием в руках. Они приносили с собой складные стульчики, укутывали зябнувшие от волнения плечи теплыми платками, раскладывали на коленях спицы и пряжу. Они никому не мешают! Они за свободу и равенство! Они за будущее для всех! И устраивались они рядом с гильотиной только для того, чтобы своим присутствием подтвердить: они за равенство, за свободу (что бы это ни означало). Да, конечно, чисто по-человечески они сочувствуют приговоренным к смерти, мучения их пугают, но ведь именно эти тупые упрямы, отправленные революцией под нож гильотины, никак не могут утихомириться, всячески мешают спокойной и сытой жизни общества, томят намеками на что-то *тонездешнее*, пишут нервные книги, изобретают паровозы и пароходы, пытаются взлететь в небо, устраивают гладиаторские бои, придумывают неудобные законы, отдают самые лучшие залы для выставок, на которых красуются портреты все тех же великолепных императриц, написанных с известных шлюх (как еще назвать натурщиц?); именно они, эти агрессивные упрямы, возводят роскошные мемориалы кровавым полководцам-победителям, расстрельным красавчикам с душами Минотавра.

Хватит! Революционный огонь выжжет заразу.

Александр Чанцев

Пьеро ди Козимо — собрат де Кирико: дадаизм, импрессионизм и традиционализм

Персонажей всех трех книг из этой подборки отличает, как сейчас бы сказали, инновационный подход к собственному — и не только — творчеству. Но в каждом отдельном случае творчество не существовало без идейной подоплеки — и они изобретали ее буквально на ходу, методом проб и ошибок на пространстве собственной жизни. Нельзя сказать, что их идеи стали магистральными для последующих поколений — как нельзя и не отметить, что без их опыта искусство и идеи последующих поколений были бы как минимум несколько преснее.

Арто, кошки и свидетельство гармонии мира

БАЛЬТЮС. Воспоминания / Пер. с фр. А. Воинова. — М.: Libra, 2021. 126 с.

Жизнь Бальтюса (Бальгазара Клоссовски де Рола, 1908—2001) так же необычна, как и он сам, — зависимость, кажется, тут именно такая. Совершенно сновидческий¹ художник, настоящий нонконформист, друг всех, от Арто до Боно, он и происхождением/семьей может похвастаться соответствующим. Родом из польского шляхетства, родился в Париже. Отец Эрих Клоссовски — немецкий художник, мать, еврейская художница Баладина (настоящее имя — Элизабет Доротея Спиро) — муза Рильке (тогда называл ее Мерлин), старший брат — Пьер Клоссовски, философ и много кто еще (с ним Бальтюс был не очень близок, в этой книге говорит о негармоничной эстетике и называет «черным алмазом»), наставник и своего рода крестный отец — Рильке (он посоветовал еще подростку Бальтюсу издать свои первые работы о пропавшем коте Мицу² и написал предисловие). Как и его семья, подгоняемая войнами и бедностью, он много поколесил в жизни — впрочем, кроме службы в Марокко, о которой у него остались самые красивые воспоминания, странничество всегда было сознательным выбором. На 30-е годы приходится его знакомство с Арто, Джакометти и Жувом и первая выставка, увенчавшаяся скандалом. Кроме живописи, занимался театральными декорациями (для постановок Арто, Камю и других). Чуть не погибнув на войне, продолжал, женившись, заниматься живописью.

¹ Не зря Мальро в рассматриваемой далее в нашем обзоре книге формулирует: «Особая поэзия, которая присуща современному вкусу, охотно творит свой мир, созвучный тому, что сулят сновидения и все иррациональное».

² Мицу — совершенно японское по звучанию и значению слово (например, переводится как «три», хотя в изобилующем омонимами японском можно легко найти и другие значения подобного «кунного» чтения иероглифов). Мегафизически оно задало японский вектор его судьбы, о котором чуть позже.

Всегда были весьма интересны и его романы — с 17-летней дочерью Батая, с собственной племянницей, падчерицей Клоссовски, и, наконец, в Японии с 19-летней Сэцуко Идэта, которая и стала его второй женой (и была в этой роли гораздо более успешна, чем Ёко¹ Оно при Ленноне, вдохновляла его, заботилась, вела его архив, переписку и прочие дела).

В Японию его послал Мальро, который вообще сыграл большую роль в его судьбе, не только невольного свата, но и серьезного работодателя. В 1960 году Мальро, новый министр культуры Франции и друг Бальтюса, предложил ему пост директора Французской Академии в любимом художником Риме. Опять скандал, но Бальтюс приступил к своим обязанностям — реконструкция виллы Медичи и выставка Родена, Джакомо Тони, Дерена и других в отреставрированных залах стали его самым большим достижением. С Мальро они хорошо дружили — в отличие от тех, с кем он разошелся. Так, в книге Бальтюс вспоминает, как Мальро рассказывал ему то, что затем стало содержанием его знаменитых «Антимемуаров». Скорее всего, их взгляды совпадали и по более принципиальным моментам, позволившим осуществить совместную музейную работу, а именно — сам подход к концепции музея. Вот что пишет в своих воспоминаниях Бальтюс: «Когда в Париже открылся центр Жоржа Помпиду, я страшно беспокоился, что он имеет такой публичный успех. Я всегда относился с настороженностью к внезапной славе и массовым проявлениям, когда произведения искусства служат лишь поводом, используются в качестве приманки для оправдания политических целей и демагогии. Я говорил еще на вилле Медичи, что устремившиеся в музей толпы не увидят живописи, их встреча с ней невозможна. Мне отвечали, что посещаемость способствует приобщению, формированию вкусов. Не верю. Я шутил, что количество посетителей следует сократить до нескольких сотен в месяц², и показывать им только самое непреложное, картин тридцать...» Так и Мальро в «Музее без стен»³ обращает внимание, насколько чужда была, например, Востоку сама идея музеев (цель созерцания-медитации там никак не могла быть достигнута). Но музея не было еще совсем недавно и на Западе, замечает он. И вообще музей больше отрицает, элиминирует — например, ту пространственную, религиозную целостность, частью которой была извлеченная из храма в выставочный зал фреска или икона, — чем дает. Бальтюс же продолжает чуть дальше — художник любыми средствами «должен стремиться к тишине. Любая попытка объяснить живопись нелепа и бесполезна. Каким языком, какими словами поведать о пространстве тишины, тайны и неизвестности, которым все мы пытаемся отыскать мысль, передать их черты?» Мальро отличал столь же радикальный подход к восприятию искусства, и Бальтюс оставил свидетельство иной пронизательности своего друга: «Мальро был энтузиастом, который, если бы и не верил в Бога, как я, все равно казался бы человеком религиозным. Он обожествлял искусство, и главной причиной в его глазах было то, что искусство неопровержимо доказывает величие человека пред лицом смерти. Это побуждало его верить, что искусство — носитель жизни, противоядие, препятствующее исчезновению. Наше согласие происходило из этой общей уверенности».

Столь долгое отступление о Мальро позволяет показать не только свободу мысли этих двоих, но и то, что свои мемуары они строят сходным образом, то есть — несходным с общепринятым. Бальтюс сам это отмечает. И не скрывает, ведь его кредо, как он как-то написал в своей биографии для Tate, «Бальтюс — художник, о котором ничего не известно. Взгляните на его картины»: «Художник говорит посредством картин <...> Я решил что-то вспомнить и привести краткие размышления, небольшие зарисовки в стиле Монтеня не потому, что хочу составить подобие завещания, а из

¹ Если уж мы заговорили о японском, то именно такой способ транскрибирования принят в русском (в отличие от английского Yoko).

² План Бальтюса исполнился в наши локдаунные дни.

³ Концепция Мальро, раздвигающая стены обычного музея до масштабов всего мира, вполне допускает подобный перевод, используемый в данном издании.

Елена Сафронова

Семейный вальс

С известным современным прозаиком Мариной Москвиной меня «свела» в середине нулевых далеко не самая популярная ее книга: «Учись видеть» (М.: Гаятри, 2005; серия НоУХау). На фоне ставших культовыми «Моя собака любит джаз», «Роман с Луной», «Гений безответной любви», переведенных на многие языки мира, «Учись видеть», вероятно, теряется. Но мне она помогла в свое время «найти» этого великолепного автора. На Москвину я написала одну из своих первых рецензий. Восторженную.

Издательство «Гаятри» тогда задумало проект «Путь Художника», посвященный становлению творчества. Серию начали с книги Марины Москвиной, где она описывала семинары для детей по развитию литературных способностей и обучению искусству письма. Книга была «мозаичной»: состояла из маленьких эссе, написанных вперемешку ведущей семинара и ее учениками. Девиз Москвиной был «Учись видеть». Первая заповедь: «Смотрите на ботинки!» Практическое пояснение: «Всегда первым делом смотрите на ботинки! Они вам все скажут о человеке. Когда научитесь смотреть на ботинки, у вас будет право заглянуть человеку в лицо, отразиться в его глазах и нарисовать его портрет». Результаты не замедлили:

«Андрей Буянов читает абсолютный шедевр:

“В метро сидел мужик.

Глаза голубые-голубые!!! ЗАТО ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ...”»

Марина Москвина. Вальсирующая: Повести, роман. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020.

Еще мне понравилось в этой «обучающей» книге то, что Москвина не делила своих учеников на «писателей» и «журналистов» и всем прививала умение видеть и внимание к деталям. Ботинки — пример единичный. Полный список того, что еще характеризует человека одним штрихом, не приведет никто. Никакой интонации превосходства прозы над журналистикой или наоборот в тексте «Учись видеть» не прослеживалось. Более того — юных писателей и юных журналистов Москвина учила одинаково: они ходили на различные мероприятия, встречи, выставки с диктофонами и фотоаппаратами наготове и практиковались в получении интервью и «отписывании» по заданиям. Меня такое «равенство и братство» особенно обрадовало. Важна для книги была неизменная доброта рассказа. Эта доброта роднила документальное сочинение с лучшими детскими сказками Москвиной, за которые она стала лауреатом Международного Почётного диплома Андерсена.

Принцип, который Марина Москвина внушала ученикам, — основополагающий для ее прозы и определяющий ее писательскую манеру. Манеру эту прекрасно описал Михаил Визель, говоря о книге «Между нами только ночь»: «Марина Москвина уверенно и изящно соединяет фикшн с нон-фикшном со времен, когда это еще казалось смелым экспериментом, а не стало, как сейчас, мейнстримом. ...вроде все персонажи реальные, хоть дружишь с ними в фейсбуке, и перипетии не бог весть какие, а получается настоящая литература. Потому что, как бы банально это ни звучало, главное же не что, а как. А получается это у Марины Москвиной так, как получается только у нее и больше ни у кого» (отзыв приведен на личном

сайте писательницы). По сути — это обо всем, вышедшем из-под пера нашего автора.

Визель же раскрыл один из важных «секретов Полишинеля» Москвиной: она очень часто пишет «о собственном муже-художнике Лёне (художник Леонид Тишков, иллюстратор практически всех книжных изданий Москвиной и соавтор рассказа «Дай списать!»), по которому снят сюжет в «Ералаше». — Е. С.) и сыне Серёже», а также о родных, знакомых и друзьях семьи. И никого это не смущает. Ни писательницу, ни ее «прототипов». Наоборот, «попавших в переплет» прозы Москвиной такая честь радует.

В своем facebook Марина Москвина 31 марта с.г. сделала грустный пост: «Сегодня впервые за много-много лет я не могу позвонить Сергею Бархину и, услышав в трубке его роскошный баритон, поздравить с днем рождения». Известный художник, сценограф и писатель скончался в ноябре 2020 года. Вспоминая в следующий день рождения Бархина, уже без него, как они познакомились, как подружились (художник был на 16 лет старше), Москвина слово за словом подводит к важному для меня замечанию: «Нравится, что я прообраз в твоём рассказе, — отвечал он мне, прочитав “Вальсирующую”. — Помню, что я был прообразом Остапа Бендера у Лёни Тишкова в иллюстрациях к “Золотому телёнку”. Люблю вас обоих». Как понимаю, Бархин выведен Учителем.

Иллюстрации к книге «Вальсирующая» сделаны тоже Тишковым. Это ироничная графика без «архитектурных излишеств», подчеркивающая своим грустно-насмешливым аскетизмом словесную вязь текста. Москвина и Тишков явно не только в семье нашли друг друга.

Часто книги, написанные на реальных событиях, интересны только их участникам. То же самое касается и семейных саг, которые нынче «в моде». В рецензии на предыдущий роман Москвиной «Крио» Надежда Каменева пишет: «По словам автора, роман основан на реальных документах из семейного архива. Это тренд современности, и для “Редакции Елены Шубиной” — привычный формат... “Крио” тоже, безусловно, роман века — его сюжет разворачивается в начале столетия и венчается судьбой самой Марины Москвиной.

Ведь именно о ее семье идет речь». «Сочные и густые эпизоды жизни Витебска, Москвы, Крыма и даже Америки двадцатых годов, волны музыки и самобытного говора, гарь и горечь войны, потустороннее сияние смерти и, конечно же, жар революции», — так представила свое полотно писательница в интервью «Мир явно движется по кругу» Валерии Галкиной для «Литгазеты».

Рецензент отмечает эту родово-биографическую основу в сочетании с художественной полнотой изложения: «Писателю удалась как раз бережная и животворящая “разморозка” — оживление не только персонажей историй, но и каждой травинки». Каменева резюмирует: «...остановиться невозможно: для читателей-гурманов такие тексты — истинное удовольствие».

Соглашусь — остановиться невозможно. Это я уже говорю о книге «Вальсирующая», составленной из трех вещей: одноименной повести, повести «Глория мунди»¹ и романа «Дни трепета», выходящего не в первый раз, но идеально укладывающегося в эту канву семейного бытописания. Она читается на одном дыхании — точнее не скажешь. А теперь — несколько слов о каждом из трех источников и трех составных частей сборника.

«Вальсирующая» не так историографична, как «Крио». Нет там потрясений революции, нет мясорубки политических репрессий, а большинство событий повести — личные драмы членов одной семьи. Чаще всего анекдотичные. Например, Галактион (отец героини-рассказчицы) в некие советские годы начал подумывать об измене Искре (матери героини-рассказчицы) с женой знаменитого дирижера, которая возглавляла приемную комиссию в секретариате Союза композиторов. «Прознав об этом, Искра... нацепила бабушкины очки — верней, роговую оправу без стекол, — выудила из сундука всклокоченный парик, доставшийся в наследство от ее героического отца, старого подпольщика, соратника Ильича (именно вождь пролетарской революции настоял, чтобы девочку назвали в честь первой большевистской газеты!), накинула какую-то

¹ Повесть «Глория мунди» была впервые опубликована в «ДН» (2018, № 2).

хламиду — и в таком виде явилась в секретариат Союза композиторов». Как раз в тот миг, когда соперница надменно объясняла гостю, прикинувшейся соискательницей вожделенного членского билета, правила приема: «У нас в приоритете качественная академическая музыка, так что заявки лиц, сочиняющих авторскую песню, джаз и прочая, будут рассматриваться в последнюю очередь», — на пороге «обозначился Галактион с торгом и гвоздикой» и успел услышать, как возлюбленная спрашивает его ряженую жену, в каком жанре она творит.

«— В жанре “...и прочая”, — ответила моя доблестная мать. После чего поднялась и с достоинством удалилась».

Любовные передраги много раз нарушат течение и без того неразумной и непростой жизни этой семьи — в разных поколениях. У героини-рассказчицы собственная история с Лёшкой, не говоря уж о романах-воспоминаниях, до сих пор не отболевших. Но это не любовная повесть. По-моему, даже не абсолютно семейная — хоть и на семейном материале. Она больше о старости и о смерти. Москвина беспощадно прописывает, каково это — терять мать. Со своими «фирменными» деталями: «...это время, проведенное в больнице, теперь мне видится огромным дирижаблем, зависшим между было и не было».

Потеря матери происходит во всех смыслах; прежде всего — физически. Все повествование — это подготовка к моменту, когда Искра окончательно заболит, получит безнадежный прогноз равнодушной докторши и упокоится на любимом ею Ваганьковском кладбище. «...Она оставила нам ряд крылатых выражений, записанных в тетрадку ее округлым и красивым почерком... Пару военных черно-белых фотографий, где она — молоденькая, в шинели — возле настоящей пушки... Конверт “Мои разводы и замужества”, самоучитель игры на гитаре, визитку “Борис Вульфвич Левин, начальник отдела наук о Земле”, кассету с песней “Бесаме мучо”, азбуку Морзе и записку:

“Обнимаю вас всех снова и снова!
Звоните, не забывайте.
Целую!
Ваша навек —
Искра”».

С таким прощальным письмом телесная гибель выглядит если не оптимистичной, то хотя бы не такой горькой, как то чувство, что разлито между строк повести. Его героиня-рассказчица (да и сама Москвина) не проговаривает, а доверяет произнести мудрой Искре. «Когда мы выходим на финишную прямую — ну, в смысле, во второй половине жизни, то начинаешь неизбежно ощущать, что мы живем в царстве абсолютно преходящих феноменов». Абсолютно преходящим с течением времени становится, как ни кощунственно, детско-родительская связь. Как бы ни были родители бодры и разумны, но берет свое даже не старость — а годы, превращающие самих детей во взрослых людей с собственной картиной мира и накопленным опытом — а мамы с папой в этой картине становятся уже не центром. Может быть, камертонами. А может быть, персонажами, как у Москвиной... Не всем же дано оставаться вечными детьми, как Костя Городков!.. О нем я ничего не расскажу в рецензии — об этом самобытнейшем герое надо читать, впивая каждое слово.

Пронзительная «Вальсирующая» и два остальных произведения в сборнике читаются одинаково увлекательно. В повести «Глория мунди» больше юмора. По сути, это развернутый житейский анекдот о злой шутке, какую сыграло с писательницей наличие полной тезки. В Крыму в творческой командировке она прочитала в газете статью со своим портретом и броским заголовком: «Марина Москвина отработает каждую бутылку!» И текст: «Марину Москвину приговорили к исправительным работам за кражу спиртного. Женщина и ее подруга пытались вынести несколько бутылок с банкета...» Эту же самую статью прочитали участники литературного семинара, ведомого Мариной — собственно, они ненавязчиво подложили ей свинью, то есть газету, на стол. Это придало пикантную окраску и учебному мероприятию, и дальнейшим событиям биографии Марины, когда едва ли не каждый встречный узнавал в ней похитительницу алкоголя, а газета не торопилась давать опровержение. Дурацкая ситуация (из которой сценарист уровня Москвиной сделал бы отменную комедию) привела ее к вовсе не смешным размышлениям: «Развеется ли

когда-нибудь пелена, и я познаю истину о самой себе, которая приносит понимание и свободу, или мне придется вечно барахтаться в неумолимом потоке сансары?» Анекдот чуть не привел «лирическую героиню», крайне близкую Москвиной, к переосмыслению своего места в мире, предназначения, судьбы. А то больно уж суетна эта gloria мунди... «В конце концов, общая картина уже нарисована в пространстве и во времени, мы видим только малую ее часть, и выбора нет, есть только уникальная возможность...» К счастью, газета извинилась, хоть и в крохотной заметке без портрета, и писательница не «переосмыслила» себя настолько, чтобы отречься от творчества. Значит, у нас впереди еще много книг Марины Москвиной.

И, наконец, «Дни трепета». Это роман-сказка. Роман-легенда. Роман — библейское предание. Оно опять о семье. Семья Пиперштейн — не обыкновенные обыватели, а персонажи Священного писания с характерными именами: отец Иосиф и мать Эсфирь. Дочь, правда, зовет их Йося и Фира, а они ее — Милочка. Основная проблема текста — это беда Милочки: «Я хочу выйти замуж за первого встречного. Но мой папа Иосиф сует нос в мои дела и не дает мне разгуляться». То, как ретиво Йося отваживает от дочери всех женихов (Фарида — за то, что «ублюдок», «молодого человека из приличной семьи по фамилии Рожакорчев» — за то, что «он не из Рюриковичей!», Кукина — потому что «имеет такой жуткий облик, что мне показалось, я видел его портрет на стенде “их разыскивает милиция”» и т.д.), — только с первого взгляда отцовская ревность или пожилые чудачества. Обоснование этого сквозного сюжета лежит в тысячелетней

истории еврейства и априорного понимания избранности народа: «Иосиф, смутитель небес, не мужчина ты и не женщина, ты хочешь, чтобы я жила в пустыне или на вершинах гор и родила от непорочного зачатия», — возвышенно глаголет в адрес отца истосковавшаяся дочь, тут же до комичного снижая тон: «что ж, в нашем славном роду Пиперштейнов случалось и не такое». Но самое прельстительное в романе — что непорочное зачатие Милочки все же состоялось, хоть и при обстоятельствах самых невероятных. Столь же невероятно и прекрасно, что от духа святого она родила шестерых детей в разные годы. Юмористически-любовный роман становится гимном искренней вере. В такой истории все вероятно — промыслом Божиим.

В книге «Вальсирующая» — а в «Днях трепета» особенно — нон-фикшн сростается с пьесами абсурда. Надо признать, оксюморон рискованный. Но Москвиной он удается. Ему соответствует речь, легко переходящая от разговорной к вдохновенной, как у проповедника в экстазе. Зачем сочетать настолько несочетаемое? Наверное, не зачем, а отчего. Слегка искусственный язык к этим сюжетам выбран оттого же, отчего люди говорят с юмором о самых близких людях и награждают их смешными прозвищами. О самом дорогом мы часто рассказываем с иронией, чтобы не произносить всуе священное для человека имя. Так и Москвина прикрывает литературностью то, что для нее драгоценно. Семья, духовная близость, память рода и наставничество, — вот те священные предметы, к которым она обиняками адресуется. Ибо: «Ты сколько угодно можешь парить в небесах, но в основе должно лежать настоящее», — как говорила Москвина в процитированном выше интервью.

Дмитрий Артис

Осадные орудия

Книга стихотворений Сергея Золотарёва «Линзы Шостаковича» не для беглого чтения. Если погружаться, то основательно и надолго. Мир, придуманный автором, если рассматривать невооружённым глазом, размыт и причудлив. Больше походит на игры чуть обезумевшего разума, чем на выверенные творения мастеровитого стихотворца.

слава богу не все ещё
нынче в здравом уме

Но когда натыкаешься на совершенно неожиданную трактовку хрестоматийного эпизода из пьесы Шекспира, где Гамлет обращается к черепу шута, то понимаешь — никакого сумасшествия в (казалось бы) несвязной авторской речи нет. Это не абы как набранные из воздуха слова, посаженные в клетку условностей, характеризующих поэтический текст. Тут всё немного иначе.

Гамлет стоит с обретенной главой
Иоанна Предтечи
возле могилы шута.

Сцена из шекспировской трагедии в мини-поэме Сергея Золотарёва «Гамлет в Крыму» роднится с преданиями о трех обретениях главы Иоанна Предтечи. Небольшой штрих к портрету — и крымский Гамлет наделяется отличным от своего прототипа мировоззрением. Здесь уже нет всепоглощающей депрессии — ничто не вечно и потому лишено смысла. Она вытесняется размышлениями о бесконечности существования. Обретение главы — это ведь как обретение надежды. Символ выходит за

рамки религиозной тематики, поскольку обрамлён мирским бытованием, и за счет этого становится общечеловеческим.

Золотарёвский Гамлет не отягчён мстостью, а если разгорячен, то крымским солнцем и портвейном. Он прикладывает к уху, как ракушку, череп и слушает шум крови — жизнь. Распавшаяся связь времен соединяется заново. Такому человеку (персонажу) не составит особого труда написать на прибрежном песке слово «вечность», даже зная о том, что с приливом оно исчезнет.

Драматургическая основа не только в мини-поэме «Гамлет в Крыму», с которой начинается сборник. Небольшие стихи формой подачи также напоминают как бы случайно выбранные и собранные под единой обложкой монологи (или реплики) из классических пьес. Стихи настолько сценичны, что звучат в полный голос, даже если читаешь про себя, прикусив нижнюю губу.

Маска безумца, наигранная уверенность в себе, показное мальчишество — всё это очень театрально, хотя, безусловно, трогательно и не без искрящейся на заднем плане (подтекстом) самоиронии. Если бы я не знал, что Сергей Золотарёв в свободное от литературы время занимается тренерской деятельностью в мире большого тенниса, то я бы рисовал себе образ автора, который похож на Сальвадора Дали. Но тут надо заметить, что эпатаж великого сюрреалиста был все-таки на грани вкуса (а то и за гранью). Эпатаж Золотарёва скорее интеллектуальный, без перекоса в сторону уже набившей оскомину физиологии.

Как говорил Семён Белиц-Гейман,
выходя на покой:
Разницы между выигранным и проигранным
геймом
нет никакой.

Сергей Золотарёв. Линзы Шостаковича. — М.: Русский Гулливер; Центр современной литературы, 2020. — 120 с. (Поэтическая серия).

Не только удары, но и все шаги твои
на Земле посчитаны.

И высушены в уме.
И высыпаны обратно на корт песчинками,
мерцающими во тьме.

/.../

Только проигрывающий постоянно,
адресно,
может читать Ганс Христиана
Андерсена.

Тема Гамлета «быть или не быть» — сквозная для всей книги. Она звучит на втором, третьем — и так далее — планах почти в каждом стихотворении, рассматривается с разных сторон и с разной степенью иронии.

Если в самом начале, вопреки хрестоматийному пониманию образа, череп символизировал надежду и жизнь, то к середине книги он уже становится хранилищем Вселенной. Его значимость растет пропорционально авторской воле и желанию персонажа удержаться от прямого ответа на гамлетовский вопрос.

Купол неба — как огромный череп,
звёздами обитый изнутри...

Да и какой может быть ответ, если смерть — небытие — рассматривается автором, как форма вечного существования, притом максимально комфортного. Предсмертная агония — вот он ад («Пушкин в аду»), а сама смерть так же прекрасна, как жизнь: главный персонаж со своей возлюбленной обязательно попадут в рай; Цветаева, как земля Санникова, завесилась в елабужской дали облаком сиротства (мощный образ, да?), и даже целитель из телевизора, разрядившись, в смерти находит покой.

Перед смертью надо еще отмучаться, —
говорила она, — потому и живу.

Небольшие стихотворные тексты, будто реплики из чеховских пьес, умещаются в один выдох-вдох. Предложения (сложные, со всеми возможными и невозможными оборотами) растягиваются на целую строфу. Дыхание глубокое (через молитву), лишённое эсэмэсочности, порывистости, истеричных выхлопов.

я говорю тебе дыши
через молитву

Обыденность рассматривается через разнообразные линзы («слёзы линзами Шостаковича», «линзы подкожного жира», «листья в роговой оправе воспользоваться линзами смогли», «и ходил он (Крымский Гамлет. — Д.А.) с выпуклой линзой, тьму сгущая перед собой») и поэтизируется. Иной раз слышится романс под гитарный перебор. Что-то вроде «Утро туманное...». Только в реальности Золотарёва он звучит так:

Утро бездомное.
Утро обманутых дольщиков.

Стихотворные тексты держатся на мощной внутренней энергии. Они выносят мозг, подобно тому как осадные орудия пробивают крепостные ворота. Здесь очевидна абсурдность высказывания о том, что звук порождает новые смыслы. Потому что новые смыслы даёт внутренняя энергия, которая как раз строится на многообразии звуков, а не на назойливом повторении однородных согласных. Партия тромбона не заменит собой симфонию. Если где-то используется аллитерация, то исключительно как частный (единичный) приём, не вытесняющий изначального смысла стыкующихся слов, как, допустим, в этом четверостишии:

хочу прихрамывать при храме
стеклом дрожать в оконной раме
не отвлекаться на детали
и жить с такой какую дали

«...Прихра-при хра...» прозвучала парной нотой, как каламбур, вставной гэг, и отставлена в покое. Больше к ней автор не возвращается, избегая превратить лирическое высказывание в скороговорку для занятий по сценической речи. Никаких псевдо-«новых» смыслов.

Лексический ряд не перенасыщен модными словами и терминами, взят из жизни обывателя. Отсылки к другим литературным произведениям (здравствуй, постмодернизм!), рассыпанные внутри стихотворений, не мешают. Тексты всё равно остаются самодостаточными. После второго-третьего прочтения даже с «туманных» строк будто спадает пелена.

Возвращаясь к названию книги, хочется сказать, что у композитора Дмитрия Шостаковича гармония (слаженность, соразмерность) считается основной чертой музыкального языка. То же самое можно сказать и о поэтике Сергея Золотарёва.

Дмитрий Бавильский

Таня и Саша в трипе

Третья книга Светланы Сачковой — интересный эксперимент по построению текста, где интонация важнее сюжета. Автор, видимо, уже знает, что «высокая литература» отличается от беллетристики тем, что сюжет в ней не самое главное. Куда важнее отстроить «уровень письма», движимый как раз интонацией, а так же ритмом и прочими литературными приправами, работающими на то, что в театре называют «кусками по атмосфере» — эпизодическими вкраплениями, казалось бы, не несущими особой фабульной нагрузки.

Обычно интонация пока лишь только смотрит в сторону реальности, существуя отдельно от нее, как бы в «автономном плаванье». Через стилистические ухищрения она намекает на очертания действительности, окружающей автора, изменяя ее, раз уж «все уже было», набором разных фотографических виражей и жанровых оттенков — гоголевских, Достоевских или же, к примеру, Сологубовских.

А есть ведь еще авторы многочисленных иностранных литератур, которых тоже можно припомнить в осенних сумерках писательских намерений. Автор перебирает литературные приемы, подобно ключам в связке, настраиваясь под тембры, опознаваемые читателем как приметы «физиологического очерка», русской прозы социальной тревоги или же как предельную модернистскую субъективность.

Это ведь только кажется, что выдержать текст в едином ключе (дыхании, размере) проще простого — следуй личной синдроматике, и счастье будет не только автору,

но и его читателям. Но в том-то и дело, что стилистические колоратуры, образующие в конечном счете элементы неповторимого авторского голоса, не всегда равны проявлениям натуры.

Их то в сторону одного жанра клонит, то на территорию другого стилистического направления заносит, из-за чего стилистические кружева постоянно требуют дополнительных «риторических фигур» и ритмических проявлений, когда в бой вступают уже не голосовые связки, но синтаксис и пунктуация. А их способ и образ действия являют не прямой, но символический слепок авторской физиологии. При переносе трехмерности на бумагу всегда велика вероятность сфальшивить или, доверившись тому, куда интонация ведет, завести свой текст вообще не туда.

Зная о превратностях своего метода и всяческих потенциальных засадах, Светлана Сачкова тем не менее, подобно опытному садоводу, выращивает интонацию «Людей и птиц» именно что органическим способом. А читатель, открывая книгу, вслед за Егором Михайловым из журнала «Афиша» (фраза его украшает низ зеленой обложки) попадает в весьма лирическое настроение: «*Вот, оказывается, какой была бы Амели, родившаяся в Москве: букет неврозов, серая юбка и никакой парижской романтики*».

Если проводить параллель, заданную Михайловым, но не из кино, а из актуальной беллетристики, то можно вспомнить роман Барбери Мюриель «Элегантность ёжика», где тоже ведь действует неловкая и предельно скованная (зажатая, забитая, но тем не менее по-своему привлекательная, а потенциально так и вовсе огневая интеллектуалка) консьержка Рене.

Таня, героиня Сачковой, впрочем,

Светлана Сачкова. Люди и птицы: Роман. — М.: Эксмо, 2020.

социальным статусом ниже даже Рене, поскольку хронически безработная — большая часть книги посвящена ее поискам не только личного счастья, но и социального места под солнцем.

Ее нервные метания по Москве дают Сачковой возможность «широкой панорамы общественной жизни»: раз уж сюжет в книге не главное, то на первый план выходят времена и нравы — им, чтоб читатель не заскучал, и нужна интонационно выдержанная подача, превращающая роман еще и в картинку с выставки совсем недавнего (судя по некоторым обмолвкам, вроде ареста Ходорковского, действие романа происходит в 2003 году), но конкретно неопределимого прошлого.

Интонационные (или же стилистические) приоритеты позволяют сделать Сачковой какую-то совершенно неправильную (в хорошем смысле) книгу. Составленные из тем и мотивов, свойственных качественной женской беллетристике, «Люди и птицы» постоянно обманывают ожидания, таким образом еще раз перенося внимание читателя с сугубого нарратива на жанровые игры.

Впрочем, понимание, что мы имеем дело с необычным творением, наступает уже на самой первой странице, выстроенной против всех правил. Сачкова начинает первую главу с отвлеченной цитаты из римской истории: *«Цезаре Борджа зарезал зятя из-за любви к собственной сестре, состоявшей в интимной связи с их отцом — Папой Римским...»*

Заявленный таким образом градус ожиданий далее не подтверждается, почти сразу перестраиваясь на бытовой, даже отчасти приземленный лад, тем более, что кухня по производству корейских салатов, которой владеет Саша, второй главный персонаж романа, расположена на цокольном этаже, сиречь в подвале жилого дома.

Саша — такой же неудачник, как и Таня, по ходу действия книги теряющий не только бизнес, семью, но и себя. Было бы логично, чтобы два одиночества постоянно двигались навстречу друг другу, чтобы в финале образовалась счастливая пара. Штука, однако, в том, что Саша — сын ближайшей подруги Таниной мамы, и они знакомы еще до цитаты о Цезаре Борджа, регулярно встречаясь, например, на семейных днях рождения. Между

ними ничего не может случиться по определению, хотя в неправильном, с точки зрения «памяти жанра», тексте может произойти все что угодно.

Видимо, поэтому Саша сходится с Таниной мамой, переживающей из-за внезапного любовного романа вторую молодость.

Впрочем, я отвлекся от первой страницы, где после дебютной цитаты про римский инцест идет объемное описание осеннего пейзажа, как бы призванного продемонстрировать, что автор «Людей и птиц» никуда не торопится, да и вам не советует.

«Это был заурядный день ранней осени. Яркими пластами солнце вливалось через распахнутые створки, падало на стол и вздымало пылинки. В жарком мареве тонули панельные дома и кроны деревьев разнужденных желто-рыжих оттенков. На небе — ни облачка. Вороны запрокидывали головы в истоме и разевали рты, издавая гортанные крики из глубины своих тел, тренированных экстремальными условиями. В куче листвы у дороги что-то закопошилось. Однако Таня этого не заметила, поскольку смотрела совершенно в другую сторону...»

Я исхожу из того, что мы бессознательно относимся к первой странице (любого) романа как к витрине, на которой автор выкладывает чуть ли не главные заглавки. Чтобы определить, о чем книга и стоит ли ее выбирать в книжном магазине, у современного человека не так много времени, а алгоритм отбора достаточно стереотипен — смотришь на фразы с обложки (вот и модный екатеринбургский прозаик Алексей Сальников в верхнем правом углу радуется: *«Господи, как хорошо, дико и весело получается в итоге!»*), а затем открываешь начало, пробегаешь глазами, вдруг что-то зацепит...

...Здесь меня зацепила не цитата, но то, что не увидела Таня в куче листвы, из-под которой внезапно вылезло непонятное, чудное: *«Сухая листва, обрывки целлофана, бумажки, окурки — раздвинулись. На свет выползло крошечное существо вроде карлика и сердито нахмурилось...»*

Существо это и дальше будет время от времени навещать то Таню, то Сашу, то менее существенных персонажей. Причем чаще

всего по ночам, все отчетливее напоминая Недотыкомку из «Мелкого беса» Фёдора Сологуба, причем, не от того, что я безмерно начитан, но потому что inferнальное это существо выполняет в книге Сачковой примерно те же самые функции, что и в образцовом шедевре русского модернизма. Не участвуя напрямую в развороте фабулы, оно, во-первых, задает сюжету дополнительные измерения, во-вторых, заставляет следить еще и за иррациональной составляющей, не давая «Людам и птицам» потонуть в бытовухе.

В-третьих, озабоченный карлик, картинно издохший в финале без каких бы то ни было видимых причин (непонятно откуда взялся и непонятно зачем теперь ушел), заметно повышает уровень нарративной неопределенности, окончательно смущая читательские планы на определить, с чем дело имеешь. Понятно ведь, что появление нечисти, как бы она затем не объяснилась (глук, поди?), способно спутать любые ожидания.

И это, как кажется, ход правильный, хотя и несколько холостой (Недотыкомка Сачковой существует параллельно людям, с ними не пересекаясь, и поступки их не меняет, работая лишь «по атмосфере») — раз уж самые важные страницы любой книги — это именно пара первых глав.

Ибо дальше читатель начинает примерно понимать, куда ведет автор, заканчивая перебор потенциальных жанровых вариантов, извлекаемых из памяти. Так уж устроена восприимчивая машинка, что нам важно осознавать, с чем мы имеем дело на этот раз. Ум только тем, кажется, и занят, что определяет начатое чтение на ту или иную полку, забитую уже знакомыми и осознанными вариантами.

Кстати, именно этот процесс чаще всего замедляет восприятие сюжета, до которого нужно же еще только добраться. Прорваться, пробравшись сквозь то, что автор вываливает на страницы в первую очередь как самое первостатейное.

И лишь потом, когда читатель определится с жанровым или же дискурсивным прототипом, книжка начинает катиться как с горки.

Быстрота нахождения аналогов и есть один из косвенных, но максимально верных признаков отличия беллетристики от подлинно изящной словесности: коммерчески

озабоченный автор в первую очередь думает о читательском комфорте, из-за чего и сдает карты как можно скорее.

Литература высокого накала, та самая, что «ставит проблемы» и «задает вопросы», напротив, заинтересована в повышенной активности читательского творчества, из-за чего играет с памятью особенно аккуратно. Сдавая не только фабульные данные, но и дискурсивные особенности не торопясь и, если такое возможно, по частям.

Книга Сачковой демонстративно нетороплива — особенно автору нравятся самоигральные сцены городской жизни: долгие путешествия героев в метро, импровизированные рынки возле станций, курилки возле контор и ковыряние бомжей в мусорных баках. Не вдаваясь в причины социальных проблем, «Люди и птицы» увлекаются самодостаточными картинками — их Светлана Сачкова научилась живописать, публикуясь в журналах *Marie Claire* и «Большой город».

Впервые я обратил внимание на эту особенность авторского стиля, идущего от традиций физиологического очерка, уже на первом десятке страниц, в тот самый момент, когда Таня захотела в туалет. Но нашла на улице лишь общественный сортир под девизом «на миру и смерть красна», куда змеилась весьма протяженная очередь. Описание ее Сачкова растягивает с тщательностью едва ли не судьбоносной сцены.

Честно говоря, я еще не встречал в нормированной нынешней прозе таких откровенных описаний, связанных с физиологией, в том числе и эротических сцен. Их, впрочем, в книге Сачковой не так много, и срежиссированы они боковым, что ли, зрением. Но вот мимо общественного толчка, окраинного и во всех смыслах маргинального, «Люди и птицы» пройти не могут.

«Таня взошла на постамент, окончательно отрешившись от наблюдавших за ней женщин. Аккуратно спустила трусы, присела не очень удобно, но скромно, сдвинув колени. Ботинки мысками внутрь. Взгляд вниз. На эмалированной емкости сеть мелких трещин. Ржавчина там, где когда-то стояла вода. Бк!Бк! Электрический сигнал мышцам...»

Уже очень скоро мультяшная «московская

Амели», «эlegantность ёжика» и заставки в духе «Секса в большом городе», на которые настраиваешься после фраз на обложке, незаметно мутируют в более естественный для наших широт тотальный бытовой дискомфорт. Интонация меняется, точно с временем суток, задавая роману совсем уже непредсказуемое направление.

Сачкова, конечно, избегает надрыва, но как тут не проявить себя стервой, если беда не приходит одна, но наваливает одни неразрешимые проблемы на другие?

Интонационные приоритеты тем и хороши, что их не обманешь — встав на колею стилистической искренности, ничего не остается, кроме как хранить верность глубинным авторским интенциям, порождающим складки на поверхности текста. Мизантропия Сачковой противоречива и амбивалентна — так можно ведь легко решить, что романтика и поиски счастья, вышивающие недостигаемые узоры поверх свинцовых мерзостей общежития, — неизбежное свойство человеческой природы, не зависящей от места жительства. Автору, де, важно устремить своих героев, мысленно порхающих, подобно птицам, в даль неизбежно светлую, так как надежда умирает последней, а финал грозит обретением если не счастья, то уж точно покоя. Особенно после того, как Недотыкомка-карлик издыхает под бочкой в уличной пыли.

Жизнь для смертных непереносима по определению, из-за чего без легкого налета иррациональности и депрессии (ну, чтобы персонажам было что наглядно преодолевать) не обойтись. Однако Алёша Рогожин, рецензент из «Горького», определил книгу Сачковой «*пламенным манифестом социального расизма*», заклеив мизантропию ее описаний как самодостаточную и самодовольную.

«Все эти "бабищи" и "ханурики" подаются нам в самом что ни на есть реалистическом

ключе. Сачкова действительно уверена, что если охарактеризовать сто персонажей подряд как жирных, потных, пьяных и грубых, получится убедительная картина русской жизни...»

Тут, конечно, многое зависит от точки зрения, и когда автор не давит на читателя конкретикой трактовки, оставляя простор для маневра, интерпретация начинает говорить не столько о писателе, сколько о самом интерпретаторе.

Ведь в том-то и дело, что слова Рогожина имеют под собой основание, если проводить «Людей и птиц» по ведомству кондовой беллетристики, которую возможно прочесть лишь под углом восприятия одним на всех. Но интонационные поиски Сачковой работают, должны работать, на расширение возможностей «женской прозы», более несводимой к «любовным историям» и «ироническим детективам». Самые интересные эксперименты современных писательниц (всерьез написать «авторок» рука не поднимается — надеюсь, поветрие это скоро пройдет, а нормированный вкус восторгается), как кажется, связаны с заступом на территорию «метафизических исканий», воплощаемых в прозе непрямого действия.

Поскольку, как известно, метафизика, что бы под ней не понимали, чурается конкретики называния, используя для достижения авторских целей всяческие окольные пути. Единого алгоритма прочтения демонстративно неправильной прозы не может быть по определению. Особенно когда многочисленные детали, выпирающие при дополнительном стилистическом усилии, несводимы к общему целому.

Гораздо существеннее и интереснее определить, почему Недотыкомка издыхает в Москве, а счастье Саша с друзьями находит на берегу теплого моря в неназванной стране, про которую только известно, что она южная, испаноговорящая и, скорее всего, остров.

Елена Елагина

А напоследок я скажу...

Перед нами последний роман Владимира Шпакова «Пленники амальгамы». И слово «последний» приходится произносить, уже не опасаясь никакого авторского суеверия, а с дружеской и неизбывной горечью. Эту книгу Володя так и не увидел. Она вышла уже после его стремительного, столь неожиданного для друзей и близких и столь безвременного осеннего ухода. Казалось бы, совсем недавно шумно и празднично отмечали его шестидесятилетие — и вот стоим, растерянные, перед местом упокоения на петербургском Волковском кладбище с его знаменитыми Литераторскими мостками...

Тему для романа на этот раз он выбрал более чем тяжелую. Достаточно прочитать оба эпиграфа, вынесенные на страницу, предваряющую повествование. Они как предостережение — легко не будет, выдержишь ли, читатель? Сначала прикинь свои силы.

Итак, эпиграф первый, тютчевский:

Там, где с землёю обгорелой
Слился, как дым, небесный свод, —
Там в беззаботности веселой
Безумье жалкое живёт.

А второй — из французского философа Мишеля Фуко: «Душа безумцев — не безумна».

И если Тютчев со свойственной его гению беспощадностью каждым словом рисует картину вовсе безнадежную и окончательную, то Фуко, напротив, дает нам не только надежду, но и призывает к человечности, к гуманизму, мол, взгляните, это же брат ваш, он такой же, как вы, и душа у него жива и не безумна, ее

надо только пробудить к тому состоянию, которое вы все считаете нормой. Собственно, об этом извилистом и невыносимо трудном пробуждении души и написаны все эти 450 страниц.

Экспозиция романа такова: три главных героя, три жизненных русла, по которым течет повествование, пока они все не переплетутся и не сольются в один поток. Старшекурсник Максим, учившийся на философском (а как же!) факультете и подававший неслыханные надежды, но вдруг — сорвавшийся с резьбы и впавший в полуживотное состояние, тем не менее оснащенное собственной железной логикой, что зачастую свойственно этим людям. Об этом чуть ниже. Девушка Майя, страдающая тяжелой формой шизофрении, в голове которой живет голос, именуемый себя Капитаном, пугающий, мучающий и мешающий ей, а заодно и руководящий ее поведением и направлением ее мыслей. И — психиатр Ковач, незаурядный ученый, отвергающий медикаментозные методы, как следствие вытесняемый научным сообществом из своих рядов, однако при этом вынужденно — насмешка судьбы! — занимающийся пропагандированием на периферии новых якобы чудодейственных психотропных препаратов. Такова завязка. Причем повествование ведется от первого лица разных персонажей, за исключением разве что Максима. Мы слышим и людей в норме, и людей вне нормы.

Но есть и еще один бессловесный герой, имеющий власть над всеми перечисленными, недаром роман назван «Пленники амальгамы». И это — зеркало, предмет во многих оккультных практиках безусловно мистический и играющий в жизни каждого героя ключевую роль. Как источник тревоги и различных

паранормальных явлений и, как выясняется уже в конце романа, — панацея от болезней души. Если бы зеркало могло отражать душу (вспомним Фуко!) — вздыхает отец Максима, не теряющий надежду вылечить сына. Но пока этого не происходит, зеркала тревожат и вторгаются в жизнь каждого персонажа. У Максима, которого его измученный отец называет Каем (по имени андерсеновского героя, в глаз и сердце которого попали осколки волшебного зеркала, разбитого злобными троллями), зеркала — это оптика так называемых наблюдателей. Эти наблюдатели, по безумной теории Кая, сосланы на Землю «бракованных» людей, поставили над ними надсмотрщиком Бога, а сами через зеркала следят за тем, что с их подопытными происходит. Майя посредством зеркала приобрела способность ночных полетов над Петербургом с безумной (извините за невольный каламбур) скоростью. А психиатр, отрицающий медикаментозное лечение психических расстройств в конце концов нашупывает метод их купирования с помощью зеркал. И, пожалуй, с этого места критиком должен выступать критик не литературный, а медицинский, желательнее опытный и с высокой степенью, поскольку здесь, по скромному мнению критика литературного, автор вступает уже в область своего любимого и испытанного магического реализма, то бишь с точки зрения здравого смысла — фантастики.

Тема безумия в литературе не нова. Но как в сказках дело кончается свадьбой, — хотя Лев Николаевич и пытался преломить эту традицию, — так и тут обычно безумием героя повествование заканчивается. Сошел с ума, перестал быть правильным потребителем, таким как все, выбыл из экономически активного общества и — *finita la commedia*, тут, как говорится, и сказочке конец. У Шпакова — с ярких картин безумия и невыносимой жизни родственников рядом с безумцами роман только начинается. Эти мученики, продолжающие любить своих детей, страдают невыносимо, потому что вся их худо-бедно налаженная жизнь летит кувырком, и в центр, управляющий всей их жизнедеятельностью, превращается несчастный безумец, которого глушат таблетками. А что еще может предложить им психиатр из районного ПНД (для тех, кто не в курсе, — психоневрологического

диспансера)? Альтернатива одна — госпитализация, и тогда человек, задурманенный химией, превратится в окончательный бесчувственный (но зато не буйный и послушный!) овощ. Этих неприглядных картин со многими историями тоже в романе с избытком. Думаю, всем известно, что такое официальная психиатрия, бессмысленная и беспощадная. Хотите услышать психиатра? Пожалуйста: «Если день не можешь помочь, месяц, год, то больные начинают раздражать. А некоторые даже бесят, им хочется мстить, непонятно, правда, — за что? За нашу беспомощность? За тупик, в котором пребываем, хотя делаем вид, что схватили бога за бороду?»

Но обессиленные родственники главных героев руки не опускают, продолжают настойчиво искать нетрадиционные методы. И — живем все-таки в эпоху глобального интернета и вездесущих социальных сетей — находят. Находят они некий нетрадиционный и новейший метод в практике психиатра-одиночки, принимающего и излечивающего на дому, — Ковача. Не буду пересказывать все перипетии его нелегкой профессиональной (да и личной) судьбы, но в конце концов Ковач, уже имеющий определенный вес в профессиональном сообществе не только в России, но и за ее пределами (здесь и личные связи не лишние), разживается иностранным грантом, покупает в захолустье некое строение и устраивает что-то вроде известного в Петербурге «Дома на горе» (там лечат алкоголиков и наркозависимых), своеобразный реабилитационный центр, куда начинают привозить в надежде на излечение душевнобольных их близкие.

И вот мы подошли к тому месту, где вместо критика литературного требуется критик с высшим медицинским психиатрическим образованием. Метод Ковача состоит в том, что душевнобольной должен, сидя перед зеркалом, изобразить свой автопортрет в любой технике и в любом материале, будь то графика, живопись, скульптура, что угодно. По сути дела, изобразить портрет своей души (вспомним мечту отца Максима), которая не больна, вычленив ее из кокона налипшего на сознание безумия и таким образом излечиться. Творчество должно вытеснить безумие, и зеркало здесь выступает уже не темной и

неведомой силой, а воскресителем. Другое дело, как убедить это сделать, как усадить безумца на несколько сеансов, как принудить его к этому очищающему действию? Исключительно силой убеждения и энергетикой контактера, то есть самого Ковача. Разумеется, оба главных героя — и Кай-Максим, и Майя — попадают в это психиатрическое чистилище и долгими усилиями Ковача недуг одолевают. Более того, начинают симпатизировать и тянуться друг к другу. Но тут, к несчастью, Ковач, как это случается с психиатрами, получает свою идефикс, свою манию: он полагает, что путем излечения душевнобольных создает на Земле новую расу гениев. И Максим с Майей в его сознании становятся как бы новыми Адамом и Евой, которые и должны положить начало этому новому человечеству, свободному от безумия. Захваченный непрерывной, изнуряющей работой, одержимый своей идеей, доктор внезапно сам превращается в обесиленного полубезумца — и уже Максиму с Майей в будущем предстоит поставить его на ноги, и они преисполнены решимости Ковача возродить. Но это должно свершиться уже за пределами романа.

Вот такой роман-исследование Его Величества Безумия, от которого никто из нас не застрахован (а, скажем, о том, что у переболевших ковидом наблюдается деформация психики, уже давно говорят врачи), написал в конце своего творческого и жизненного пути петербургский прозаик Владимир Шпаков. Написал, как всегда, ярко и убедительно. Тяжелое это чтение? Да, тяжелое. Страшное? Да, страшное. Недаром он придумал психиатра-избавителя с его зеркальным методом, чтобы дать хоть какую-то надежду — нет, не самим душевнобольным, многие из них себя таковыми и не считают (это, кстати, первый признак безумия — отрицание своей болезни) и, может быть, даже счастливы в своих недоступных нам мирах, а их близким, которые страдают, имея рядом с собой этот ежедневный исподволь убивающий радиоактивный фон, и которые тем не менее продолжают любить своих безумных домочадцев. Дать надежду тем, у кого рука не поднимается и сердце не допускает освобождения от этого ежедневного груза, которое они полагают предательством.

А, казалось бы, чего проще — говоря бытовым языком малаховских шоу, — сдать в сумасшедший дом и жить дальше своей привычной жизнью. Да не получится привычной! Все равно эта заноза будет саднить и беспокоить. Нет, если уж этот крест появляется в вашей жизни, то он навсегда. А о состоянии нашей медицины читайте в бравых отчетах Роспотребнадзора.

Шпаков начал свой роман цитатой из Тютчева, а мне хочется завершить свой небольшой текст цитатой из Александра Кушнера. И хоть речь в стихотворении идет о феномене человека, о его неизменных пороках и вообще его неизменности в веках, недоступной осмыслению никакими мудрецами, но мне кажется, что это описание беспомощности в поисках объяснения и панацеи годится и для мировой психиатрии:

Колёса грубые по оси в землю врыты.
Под них подкладывали лапник и тома
Священных кодексов, но так же нет защиты,
И колет тот же луч, и дышит та же тьма.

Да, человеческий мозг так пока и остается тайной за семью печатями. Черным ящиком, в котором непонятно что происходит.

Не могу не сказать, что написан роман с кинематографической живостью, едва ли не с раскадровкой и детализацией мизансцен (недаром Шпаков в петербургском Союзе писателей возглавлял секцию драматургии). И, надо думать, попадись «Пленники амальгамы» в руки влиятельному кинопродюсеру, он своего не упустит. А уж что за сериал получится, Бог весть. Видали мы всякие хваленые экранизации вполне маститых режиссеров. Так что все-таки лучше это кино смотреть у себя в воображении, читая книгу.

Мне же напоследок хочется пожелать возможным читателям не забывать писателя Владимира Шпакова, у которого в творческом наследии, помимо романов, есть несколько превосходных сборников рассказов, ведь он блестящий мастер малой формы и виртуоз магического реализма. Не раз мне доводилось эти сборники обзирать — с радостью и читательским восторгом. Очень хочется, чтобы у книг Шпакова была долгая жизнь с неугасающим читательским вниманием и интересом.

Амаяк Тер-Абрамянц

В поисках корней и истоков

«Ингерманландия» — впервые это слово, кажется, прочитал у Набокова в романе «Подвиг». И тут же посчитал художественной выдумкой, игрой воображения мэтра, сочинителя кроссвордов, энтомолога, столь склонного к литературному подмигиванию. То была мифическая страна, куда стремился воспитанный в Лондоне русский герой романа, сказочная несуществующая прародина...

Каково же было мое удивление, что край под названием Ингерманландия действительно существовал, населенный финно-угорскими народами, вольный, не успевший обзавестись собственной государственностью до того, как стать сначала приписанным к землям Великого Новгорода, затем оказаться под шведской короной и стать местом возведения столицы Российской империи — Санкт-Петербургом. Однако успел этот край создать собственную самобытную культуру, которая продолжала жить, развиваться и в составе Российской империи, а была подавлена и развеяна лишь сталинской коллективизацией, пришедшей вслед за ней войной с немецкой оккупацией и послевоенным запретом на возвращение в родные места, разбросав коренных жителей этого края от Финляндии до Сибири, а впоследствии рассеяв их по разным странам и континентам.

И собрать по крупицам, казалось, безвозвратно ушедший в прошлое образ Ингерманландии, восстановить его взялась составитель этой книги, литературовед, скандинавист, известный переводчик с норвежского Элеонора Панкратова —

«Ингрия — наша родина...»: Воспоминания, эссе, стихи, рассказы / Составление и предисловие Элеоноры Панкратовой. — СПб.: ГИОЛЬ, 2020.

Нора Лаури, ингерманландка по маме. В сборнике удалось воскресить облик почти исчезнувшей страны, рассказать о судьбах людей, создать образ теперь уж «небесной Ингерманландии». Эта книга — плод любовного и бескорыстного труда — включает 18 авторов, их безыскусно-правдивых рассказов о своих судьбах и судьбах предков, живые голоса не только литераторов, но и людей различных специальностей, влюбленных в Ингрию, как урожденных ингерманландцев, так и их потомков: этнографические очерки, рассказы, воспоминания, заботливо собранные народные пословицы, стихи...

Знаешь, есть пустынный берег
У холодного залива,
Где рассказывает ветер
Сказку серым валунам...

(Аля Деконская)

А что мы слышали вообще об этом крае, кроме пушкинского «убогого чухонца» из «Медного всадника»?

Книга открывает нам суровый край с его коренными финскими обитателями, людьми упорного труда, с несгибаемым чувством собственного достоинства.

Сама Элеонора Панкратова родилась в Ленинграде в семье капитана дальнего плавания, но летние месяцы детства проводила в одной из последних ингерманландских деревень, родной деревне мамы, северной красавицы, впитывая нравы ее людей, их природную доброжелательность и любовь к порядку, красоту и своеобразие здешней природы с ее соснами, валунами, озерами, «пронзительной морской синевой». Так и получилось, что духовная ее родина не в блестящем многонациональном Петербурге, а в деревне Копаницы, известной по писцовым

новгородским книгам с 1500 года, где до сих пор сохранился дедовский добротный дом, а уцелевшие люди старшего поколения еще не забыли местный финский диалект.

Цель книги — поиск собственных корней, — недаром на обложке Элеонора Панкратова снята на фоне склона с обнаженными корнями сосны. Первые упоминания об этом крае есть в финском эпосе «Калевала». Народности, обитавшие издревле на болотистых землях вокруг устья Невы, относились к финно-угорским племенам ижорцев и ингерманландских финнов — эуромяйсет и совакот.

Со времен Пушкина финские деревни снабжали столичный Петербург свежим молоком утренней дойки:

С кувшином охтенка спешит,
Под ней снег утренний хрустит...
(«Евгений Онегин»)

Веры ингерманладцы были в основном лютеранской, в традиции долгое время сохранялись певческие праздники, которые так объединяют народ в целое (подобное мы наблюдаем у эстонцев и финнов). Родной язык был свой, хотя близкий к финскому и эстонскому. «Родной диалект, — пишет исследователь Э.Г.Карху, — оставался тогда родным в самом непосредственном значении этого слова...»; «Родной язык, как и родная мать, являются по-настоящему родными, когда человек даже еще не осознает, что может быть иначе».

Несмотря на близость многонациональной столицы и соседство с русскими деревнями, ингерманландцам удавалось сохранять свою этническую обособленность. Финские крестьяне здесь занимались посевом и обработкой зерновых, выращиванием картофеля, заготовками сена, животноводством (разведение молочных пород коров, лошадей), — везли в столицу сливочное масло, копорский овес и копорский чай, — занимались собирательством грибов и ягод в лесу. Тяжелый труд крестьян начинался до рассвета, но не хлебом единым... Существовал и развивался национальный фольклор: кроме участников церковных и песенных праздников были свои рунопевцы. Особенно известной исполнительницей древних рун была ижорянка

Ларин Параске (Прасковья Никитична Никитина). Ее образ увековечен скульптором Алпо Сайло в памятнике финским рунопевцам в центре Хельсинки, а песни, наряду с наследием других сказителей, разучивают как образцы древнего финского пения в Академии Сибелиуса. Не забывали финские крестьяне о том, что детям надо давать образование, создавая двухклассные церковно-приходские школы, впоследствии была создана и учительская семинария в Колпанах; а у кого была возможность, отдавали дальше в Петербург — учиться в немецких школах.

Алексей Крюков в своем очерке «Финский характер» отмечает трудолюбие, терпение и доброжелательность, особенно — финскую честность («Чужого не бери, не трогай, с земли не поднимай»), но и упрямство тоже. «Безусловно, финны больше думают, чем говорят». Об этом, кстати, и финские пословицы: «Думай много, не всем говори», «Не будь скор в речах, будь скор в работе».

И еще одно любопытное открытие удалось сделать в процессе создания книги. Существует в Сибири, в Омской области деревня Рыжково, населенная финнами, эстонцами и латышами. После поисков документов в архивах выяснилось, что деревня основана в 1806 году финскими крестьянами, не пожелавшими платить грабительский оброк своему хозяину барону Унгерну-Штернбергу. Финны не роптали, а просто молча требования игнорировали, как ни уговаривали их царские чиновники. В конце концов барона заставили поубавить аппетиты, но финны продолжали барона не замечать. Дело дошло до царя. Было решено переселить недовольных в Сибирь. Двести человек, собрав, что можно было взять с собой, погрузились на телеги и пустились в путь, который продолжался целый год, несколько человек в пути умерло. Но обильное черноземом место, куда их определили в омской области, оказалось по сравнению с Ингрией для крестьян настоящим подарком. Так и появилась в Сибири зажиточная финская деревня Рыжково.

Во время сталинской коллективизации очень многие ингерманландцы были приговорены к ссылке в Заполярье и Сибирь.

Не только коллективизация, но и война прошла по ингерманландцам: немцы к ним

относились не лучше, чем к русским: согнали взрослых и детей в концлагерь «Клоога» в Эстонии, мучили непосильным трудом, избивали, держали на голодном пайке. Потрясает деталь: в этих нечеловеческих условиях, истощенные голодом дети выменивали на драгоценный кусочек хлеба у взрослого узника самодельную куклу! В 1944 году узников, в том числе и детей, перевезли в Финляндию, где распределили как работников по семьям.

Но во многих финских семьях к детям отнеслись тепло, почти как к собственным. Некоторых даже стремились усыновить/удочерить (история Айно Хиеканен). Однако в 1945 году появился в тех местах советский офицер, который стал зазывать детей обратно на родину, утверждая, что нашлась их мать. Это была ложь. В России они были отправлены

в детдома. Зачем это было нужно Советскому Союзу, я до сих пор не могу понять. Скорее всего, работала бездумная бюрократическая машина, подчиняясь очередному бессмысленному приказу.

До 1952 года финнам запрещалось возвращаться в родные места, но кое-кто из тех представителей финно-угорских народов, кто носил русские имена и фамилии, все-таки смог вернуться (особенно если глава семьи был на фронте), многие осели в Карелии и Эстонии.

В советское время не существовало официально такого понятия как *жители Ингрии, ингерманландцы*. Книга «Ингрия — наша родина» возрождает о них память. Существует даже гимн Ингрии и желто-красно-синий флаг несуществующей страны, которая живет в человеческих душах.

Евгений Абдуллаев

«Резко сняли министра...»

На тему этого «барометра» меня натолкнул сборник Вячеслава Шаповалова, вышедший в начале года в «Русском Гулливере», — «Безымянное имя». В нем я нашел стихотворение, которое запомнилось еще по его публикации в «Арионе» (2014, № 1), «Бегство в Египет».

Но сперва — о теме. О современной гражданской лирике.

Это словосочетание, кстати, используется все реже, вытесняемое «политической поэзией» — калькой с английского *political poetry*. Почему бы и нет: «гражданская лирика» звучит несколько хрестоматийно¹.

В прошедшее десятилетие всё политизировалось; поэзия не стала исключением. И тренд этот, насколько можно судить, не только российский.

«Британские поэты сейчас очень политизированы, — говорит поэтесса и переводчица Саша Дагдейл (Dugdale), — до такой степени, с какой мне лично не приходилось сталкиваться раньше. Это отражение растущей политизированности общества, которая началась с победы консерваторов в 2010 году, режима строгой экономии и расколовшего страну на два лагеря прошлогоднего референдума по поводу выхода из Евросоюза. Думаю, не будет преувеличением сказать, что большинство поэтов относятся к левому крылу политических сил, придерживаются либеральных взглядов, и поэтому их ужаснули побочные эффекты референдума: рост ксенофобии и оголтелого национализма, информационные вбросы в СМИ и стремление отвернуться от Европы, мультикультурализма и прогрессивных взглядов» («Иностранная литература», 2018, № 2).

Нечто похожее можно сказать и о российской поэзии 2010-х.

В самом начале десятилетия в «Дружбе» вышла моя статья «Террор, война и... Новая гражданская лирика в поисках языка, темы и субъекта» (2010, № 2), подводившая итоги нулевых. Что изменилось за десятилетие? Ушла в тень тема терроризма. Тема войны сохранилась, но в значительно переформатированном виде. В нулевые это был травматический шлейф чеченской войны; в десятые — обострение страхов мировой войны и конфликт с Украиной. Громче (порой даже слишком громко) зазвучала феминистская тема. Гражданская лирика все больше дополняется социальным и политическим активизмом. Хотя, конечно, слабые (или просто «средние») стихи никакой активизм не спасет.

Пожалуй, основной для гражданской лирики 2010-х становится тема *отношения с властью*.

И в нулевые, конечно, хватало стихов на эту тему. И у Дмитрия Быкова, и у Игоря Иртеньева; где-то со второй половины десятилетия — у Евгения Лесина и Всеволода Емелина. Всё это осталось и в десятых, даже где-то усилилось. Но это — только один, хотя и важный, регистр гражданской лирики: *сатирический*.

¹ Хотя «гражданское» все же шире «политического». Это еще и социальное — то, что связано не только с властью, но и с обществом.

В десятые тема власти вышла за рамки сатирической поэзии.

В «Бегстве в Египет» Шаповалова политическое, «медийное» накладывается на евангельский сюжет.

Резко сняли министра, и всё у них там закрутилось.
Как обычно, в Кремле не туда и не так покатилося,
сколько слёз извели, сколько грязной посуды побили,
ну а весь конфискат — золотишко да автомобили.

Имя снятого министра не называется; читатель пока не догадывается, что героем стихотворения окажется — нет, не сам министр, а кто-то из связанных с ним людей, оказавшийся «крайним». У которого, к тому же, жена скоро должна родить.

Ход неожиданный. Обычно «коррупционерам» сочувствовать не принято; героя, связанного с коррупцией, вообще не припомню; разве что в цикле рассказов Виктора Драгунского о посаженном взяточнике и его близких. Написанном вполне сочувственно, изнутри. Но и Драгунский признается: его изумило, что «некоторые читатели отказывают участникам этой истории в праве размышлять и переживать. Метаться, тосковать, приходить в отчаяние. То есть совершать простые человеческие душевно-умственные действия»¹.

Стихотворение Шаповалова — как раз про эти «человеческие действия».

А кого и нашли по подставе, так разве что крайних —
за другими неслышно повёрнут газпромовский краник.
Что Марию ждало, вы б в колонке прочли мемуарной.
Ну а я кто такой? — шеф малярный по части столярной.

Проступает подоснова евангельского сюжета: не просто осовремененного (это как раз не ново), но неожиданно стилистически аранжированного. Шаповалов отчасти следует здесь Галичу; та же смесь — если не гуще, — разговорной речи, балладной интонации и горькой иронии.

Маша еле идёт с животом... Тут менты в изобилье,
на ступеньках у офиса как-то о нас позабыли,
о невыезде то есть, конечно, забрали подписку,
чтоб родную страну не подвергнуть излишнему риску.

И уж ясно, что нам бесполезно куда-то соваться.
Но сказала Мария: «Иосиф, нам надо смываться!»
Я прикинул: и впрямь не сегодня, так завтра закроют,
да и раньше зарюют, чем в деле чего-то нароют,
вон и теща, гляди, в час урочный возьмёт да подсыпет.
Тут, на грех, к нам турфирма соседкина: «Что не в Египет?»

Иосиф, посомневавшись («Ты рехнулась, — шепчу, — ты ж родишь в Шереметьеве сразу»), но видя упорство жены, решается бежать с ней в Египет.

Улетели — одно, но другое — когда прилетели:
что Каир, что Рязань — русским матом набиты отели,
и внизу, у охранника в тесной клетушке с экраном,
вечер крылья сложил и в обнимку сидит с чемоданом,
как не сторож, гляди, а патолога, скажем, анатом,
и несвежий салат приправляет несвежим закатом.

Сюжет бегства в Египет оказывается наложенным на другой — Рождества. Стилистический регистр снова слегка переключается — в поток бытовой речи и бытовых наблюдений вкрапливаются неожиданные по своей яркости образы.

¹ Драгунский Д. Окна во двор. М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. С. 146.

И вот в этот момент, как всегда по закону природы,
у любимой моей отошли горемычные воды.
И пришли три врача, три вообще-то почтенных араба:
— Где она, — говорят, — что рожать собирается, баба?
— Тут она, — говорят, — где-то только что вот мельтешилась,
как бы, правда, уже второпях она не разрешилась.

Фамилии трех врачей — Каспаров, Валтасаров и Мельхиоров; за рулем скорой помощи — «шофер Симеон»... Эта несколько излишняя однозначность — пожалуй, единственное, что можно было бы поставить здесь в упрек автору...

Прямо в «скорой» происходят роды. Машина заезжает в какой-то госпиталь при коптском монастыре.

Назовите мне, если хотите, любую обитель,
кто родился — не знаю.
Но знаю, что точно: Спаситель! —
спас же Мать, и меня там, где голос нам был: не отпустим! —
пусть, конечно, я вор и мой дом — ходорковская пустынь...

Тема столкновения лирического героя с властью решается без обычной в подобных случаях жесткой бинарности: добро (герой) — зло (власть). Или жертва (герой) — палач (власть)... Герой сам связан с властью, пусть даже в прошедшем времени. Сочувствие вызывает не то, что его «нашли по подставе», а его отношение к жене, тревога за нее. Одномерность гражданского высказывания усложняется, сопрягаясь не только с религиозной, но и любовной линией: «Я держал ее руку, салфеткой промакивал слёзы...» Становится более психологически насыщенным.

«...Новая гражданская лирика формируется именно через отказ от прежней парадигмы прямого отклика, прямого отражения».

Это из всё той же «дружбинской» статьи 2010 года.

Прямой отклик из поэзии десятых никуда не исчез; возможно, его даже стало больше. Почти на две трети состоит из стихов-откликов «Волынщик над Арлингтоном» («ОГИ», 2020) Юлия Гуголева — поэта, прежде редко писавшего на злобу дня. Здесь и изменения в Конституции, и карантин, и «секс-скандалы в МГУ»... Логично. В более политизированное время востребована более политизированная, скорострельная поэзия.

И все же — ощущение, что в жанре «утром в газете — вечером в куплете» Гуголев, несмотря на все мастерство, слегка уступает своим более бойким коллегам. Стихия Гуголева — все же философская лирика; ее линия, идущая от античного скептицизма, с его недоверчивостью, насмешливостью и мудрой печалью. На этом пространстве и возникают лучшие тексты «Волынщика»: «Вот мало-помалу рассеялась ночь...», «Я этого больше не вынесу...». И возможно, наиболее сильное:

Шеренги неприкосновенных,
неприкасаемых отряд:
не синевой, не медью в венах —
железом, ржавчиной горят.

Судьба рогатым и клыкастым
ложиться в общую кровать,
чтоб принадлежность к прочим кастам
доказывать/опровергать?

Ну неужели на смех курам,
решив на пирамиды влезть,
вы верили, что этот Сиргум
и вправду в ваших жилах есть?

Посмотрим, что вы запоёте,
когда не по такому дну
побеги новой вашей плоти
сначала — ниточку одну,

ну а потом — во все пределы,
во все пространства и углы,
и чтобы, вторя, вечность пела
одно неумолчное «Ы»,

чтоб, за каким неясно х..ом,
невнятным ропотом сирот
вернул бы миру ржавый Ferrum
отжатый вами кислород.

Стихотворение встраивается в мрачноватый ряд образов политического Левиафана — от «Чудища обла, озорна, огромна...» до «Мы живём, под собою не чуя страны...» Конкретный повод стихотворения, если таковой был, определить сложно (падение мировых цен на медь? экопротесты против разработки месторождения меди в Башкирии?). Повод здесь не важен. Важнее образы самих металлов, меди и железа (ржавчины), их метафизического столкновения и переплетения.

И последний пример, из еще одного недавно изданного сборника. Алексей Кубрик, «Рыба важнее» («Воймега», 2021), стихотворение «Птицы знаки препинанья...». Начинается оно вполне элегическим пейзажным этюдом:

птицы знаки препинанья
вечер сумерки безгласных
стены собственно тенями
лампа в тесном абажуре
<...>
вон аллеи в запустенье
погоды покуда чудо
через голову снимает
листопада одеянье

Аллея это — то ли кладбищенская, то ли находящаяся рядом с каким-то важным административным зданием (возможно, даже Кремлём), где «чиновные деревья», где

жил однажды ужас липкий
в толстом глянце толстых пальцев
в пухлых рожах самовластья
он теперь на пни и шорох
на могилы убиенных
наползает днём и ночью
<...>
в птицах знаках препинанья
в глянце сумерек безгласных
в чистых рожах новояза
под стеной кремлёвской плача
под забором новой дачи
пахана из тарантаса
чтобы в небе этом синем
с барабаном старой песни
петь могли одни деревья
на могилах безымянных
не солдат и не героев

Хотя политическая образность («пухлые рожи самовластья», «пахан из тарантаса...») грешит некоторой газетностью, ее соединение с медитативной пейзажной линией дает интересный стилистический контрапункт. Интересна и работа с рифмой в этом стихотворении, написанном в целом нерифмованным хореем. Рифма прорезается именно в наиболее политически-заостренном месте («новояза — плача — дачи — тарантаса»).

Итак, три стихотворения из трех недавно вышедших книг. Тема всех трех — человек и власть. Все три выдержаны не в привычном сатирическом ключе и вообще не в духе прямого отклика; сама гражданская лирика в них «привита» к другим жанровым ветвям. У Кубрика — к ветви пейзажной лирики, у Гуголева — философской, у Шаповалова — религиозной и, отчасти, любовной.

Можно, правда, заметить, что все три автора — представители «старшего» поэтического поколения¹. Интересно было бы рассмотреть политические стихи у более молодых; обладающих, соответственно, иным социальным опытом. Но я уже исчерпал «барометровский» объем, так что к этому разговору вернусь как-нибудь в другой раз.

¹ Шаповалов 1947 года рождения, Кубрик — 1959-го, Гуголев — 1964-го.

Борис Минаев

СПОСОБНОСТЬ ВЫЧИТЫВАТЬ

Бэтмен против Брежнева

На спектакль Театра на Малой Бронной «Бэтмен против Брежнева» билеты нужно покупать заранее — за месяц, а лучше за два. Да, в зале может находиться лишь 50% зрителей, и все же понять природу аншлагов (а это именно они) сразу непросто.

Во-первых, сам «Театр на Бронной» («Малую» зачем-то убрали из логотипа, и я даже не знаю, зачем и когда) находится на ремонте, уже давно. И ехать надо на Электрозаводскую, во «Дворец на Яузе», то есть в бывший ДК МЭЛЗ, где когда-то снимался КВН, а в недавние годы переживал свой плановый ремонт «Современник». Далеко.

Во-вторых, ну да, пьеса молодого драматурга о советских временах, нет, не ностальгия, нет, не веселая комедия (хотя бабушку играет знаменитый Александр Семчев, а Брежнева — не менее знаменитая Ольга Лапшина). Но что случилось-то? На безрыбье и рак рыба? Вряд ли. Одно из первых заметных событий восставшего из ковидных руин театрального сезона — стоит рассмотреть пристальнее.

«Брежнев против Бэтмена» — произведение не простое и к тому же имеющее целый ряд зрительских ограничений. Ну скажем, чтобы его смотреть, неплохо бы знать, кто такой этот Бэтмен, и с чем его едят: то есть посмотреть хотя бы один фильм из знаменитой эпопеи про летающего защитника идеалов. А фильмы эти, американские, чтоб не соврать, начали показывать в нашей стране лишь в конце 80-х годов. Ларьки с видеокассетами, на которые пиратским образом были списаны разные американские хиты, от «Апокалипсиса» до «Греческой смоковницы», появлялись тогда повсеместно. Даже были такие отделы или, как бы это сказать, лотки — в универсамах и продовольственных магазинах, ибо жизнь в ту пору (даже в Москве) была трудна и без этих видеокассет было никак не обойтись.

А с другой стороны — ну хорошо, а вот человек, у которого не было видеомагнитофона, и он этот фильм по понятным причинам не смотрел тогда, не смотрел потом и вообще он не любит американское кино в принципе — ему-то что делать на этом спектакле?

Но и ту часть аудитории, которая с трудом представляет себе Брежнева — тоже сбрасывать со счетов не надо. Ну да, они знают, что был такой генсек, но *что* такое Брежневская эпоха — представляют себе уже слабо. Не представляют себе главным образом то ощущение тотальной безнадежности, когда ты понимаешь, что никаких изменений в этой унылой, опостылевшей реальности не предвидится...

Ведь вся эта история, которая начинается, кстати, именно в конце 80-х годов, построена на мифологии «человека-летучей мыши», на характере человека-неудачника, у которого есть совсем иная «вторая жизнь», скорее всего, воображаемая, подвиг в

полном тотальном одиночестве. И увидена эта история — глазами его дочери, влюбленной в своего отца-неудачника, это с одной стороны, и воспитанной на этих перестроечных сказках, на американском кино, вообще на «открытии Америки», на мечтах об иной реальности — с другой.

...Итак, если вы в возрасте папы, главного героя спектакля, и если вы при этом вместе с дочерью не смотрели эти фильмы, не понимаете этих кинокомиксов, не впитали этот ядовитый и сладкий воздух перестроечной свободы 80-х — вы ничего не поймете в произведении Саши Денисовой (она здесь и драматург, и режиссер).

Кстати, о Саше Денисовой.

Человек она молодой, но уже творчески зрелый — выпустила в свет немало спектаклей на разных площадках города Москвы, уже получала «Золотую маску», прямо сейчас ждет своей премьеры в питерском БДТ, но... Но я-то ее помню с еще более молодых ногтей, когда она была журналистом, репортером, литератором, и вот тогда-то у нас состоялась некоторая полемика, если не сказать серьезная заруба, на страницах быстро почившего в бозе журнала «Город женщин» — полемика на вечную тему о поколениях.

Свой текст у меня остался, а ее — к сожалению, нет, но в нем, насколько я помню, она с восторгом писала о своем поколении: Вырыпаев, братья Пресняковы, Сигарев, целый ряд новых тогда фамилий, но главное, — она писала, что создавать новую реальность, в культуре да и вообще в жизни, им, этим детям перестройки, предстоит на совершенно *выжженном поле* (вот это выражение я помню очень хорошо), что родители в наследство не оставили им буквально ничего — разрушено все, от страны до культуры, от детского сада до линии электропередач, и все надо начинать практически с нуля. Это заявление меня, признаться, глубоко возмутило и я что-то там горячо ей возражал.

Увидев спектакль, я вдруг понял, что ничто никуда не уходит и не проходит, и важные мысли остаются с тобой навсегда, и важные вопросы задаются вновь и вновь — так вот, спектакль этот, о поколении отцов, шагнувших из махрового застоя в дымную перестройку, принял эстафету от той, совсем зеленой Саши Денисовой, и вот теперь они, эти самые отцы и матери, бабушки и дедушки, увиденны ею с иронией, иногда вполне язвительной, но в то же время жизнотворной, мягкой, увиденны с огромным уважением и любовью (ну мне, по крайней мере, так показалось).

Спектакль яркий, забавный, местами загадочный, с резкой сменой настроений — обладает для меня одним наиважнейшим качеством: нежностью.

Эту обволакивающую, нежную иронию создают, конечно, детали и актеры.

Советские детские и эстрадные песни (задорные и веселые), которые тут очень часто не поют, а просто читают со сцены их слова «с выражением» — вдруг звучат очень депрессивными, печальными стихами. Что почему-то очень смешно. «Члены политбюро» в карнавальных своих мундирах — предстают цирковыми комиками и клоунами (возможно, так оно и было, просто мы этого не замечали?). Брежнев в исполнении маленькой Ольги Лапшиной — это и вовсе трагическая фигура, совсем потусторонний, потерявший связь с реальностью старичок, которого держат в заточении эти злые клоуны. И когда Брежнев вдруг вовсе не умирает, а переселяется к бабушке Клавдии Георгиевне, которую, напомним, играет веселый толстяк Семчев, ты вдруг четко осознаешь, что вся ткань спектакля — это детская сказка, и одновременно детская травма, и детская боль за отца-неудачника и его развод с матерью, и вообще вся эта поздняя советская жизнь, унылая и предсказуемая, увидена через эти очень острые и свежие детские чувства. И что в этой, казалось бы, такой серой тогдашней жизни — они, эти острые и свежие чувства, все-таки были.

А сейчас их нет...

Конечно, игра и Лапшиной, и Семчева заслуживает особых слов, но все же образ Брежнева, нарисованный создателями спектакля, остался для меня окружен

каким-то ореолом мистической тайны. Сам Брежнев оказался тут каким-то странным идиолом советской эпохи, что мне, например, очень близко: я давно перестал воспринимать его как живого, конкретного человека. А начал видеть в его фольклорной фигуре некий странный вывих истории, уродливый темный парадокс, который позволял так долго удерживать всю эту прогнившую, хоть и грандиозную конструкцию, о чем, кстати, и говорит в спектакле Дудочкин, папа-Бэтмен (актер Сергей Епишев). Но как это делает Лапшина, я, если честно, до конца не понимаю.

Но вот Семчев, этот великий характерный актер, комик, добирающийся до трагических высот легко, в два прыжка, вполне себе наследник Евгения Леонова — в роли бабушки Клавдии Георгиевны — тут совсем другое дело. Тут все открыто, прозрачно, чисто. И то, что по детской фантазии Брежнев «никуда не умер», а «переселился жить к бабушке», и она стала его кормить — из своего необъятного по запасам холодильника, который, несмотря на дефицит и очереди — был всегда под завязку полон, — это во всей истории очень важная деталь. Брежнев как кот, как домовый, как домашнее привидение — такого, наверное, еще нигде не было. Это открытие.

И смех становится благодаря этой детали не жестким, и ирония не пустой, и доброта — не сладкой.

А доброта, она тут очень нужна — ведь все-таки основная фигура в спектакле, некто Дудочкин, папа-Бэтмен, живое воплощение перестроечной интеллигенции, он все-таки для всех своих женщин (а взгляд тут, безусловно, женский) — фигура очень неоднозначная, слишком сложная, состоящая из самых острых углов. И для дочери-рассказчика (актриса Александра Виноградова), и для жены Лели (актриса Мария Шумакова), так и не простившей Дудочкина за то, что его соблазнила «женщина с телевидения» (актриса Лина Миримская), для них для всех папа-Бэтмен — фигура одновременно и отталкивающая и притягательная. Он пьет, он совершает дурацкие поступки, он говорит невпопад, он думает только о своей будущей книге, совершенно никому не нужной, он не зарабатывает денег, он не содержит семью, он водит свою маленькую дочь не в театр, а в пивную, да вообще... О чем тут можно говорить?

Для меня же в Дудочкине воплотились все герои перестройки. И Сахаров в мешковатом костюме, и следователь Гдлян и бывшие кандидаты наук, ставшие в одночасье депутатами и министрами, но так и не сумевшие удержать власть, и журналисты, и писатели, и все-все-все они... Все они бэтмены, которые вылетали в окно из этой советской жизни, чтобы совершать невидимые миру подвиги — и таки они их совершили.

Жить в том обществе, которое сходило с ума от заграничных тряпок и бытовых мелочей, совершенно не удивлялось вранью и было в шоке от любой правды, — жить и при этом оставаться верными своему идеалу, своим моральным принципам, своему чувству справедливости — было очень тяжело. И не все дошли до конца пути. Многие не дожили до наших дней.

Собственно, им и посвящен этот спектакль, всем Дудочкиным. Я думаю, что вряд ли это только личная, автобиографическая нота — во всех бэтменах перестройки, во всех нелепых интеллигентах, кем бы они ни были, Саша Денисова увидела своего отца. Отца, который оставил после себя отнюдь не «выжженное поле», хотя и был неудачником.

И мне очень дорого, что вся эта тотальная, хоть и мягкая ирония завершается репликой в последнем эпизоде — абсурдной экскурсии по «квартире-музею диссидента и писателя Дудочкина». «А вот окно мы оставляем открытым всегда. Почему? Потому что мы верим, что он вернется».

Я тоже верю.

Гроза прошла

В Театре имени Моссовета — большие перемены, пришел новый художественный руководитель Евгений Марчелли — и начались новые проекты: репетиции, как он сказал, идут во всех помещениях театра, все пытаются что-то новое поставить, а кто-то — уже поставил.

Прекрасное время экспериментов.

Один из них связан с именем Андрея Максимова, известного телеведущего, психолога, литератора, журналиста и режиссера. Со спектаклем «Бэтмен против Брежнева» поставленный им спектакль «Гроза прошла» (по пьесе Дмитрия Мережковского) — связывает не только то, что как и Саша Денисова, Андрей Максимов пришел в театр из «смежного цеха». Это сближение лишь формальное.

Важно другое: мы все сегодня пытаемся вычитывать из разных слоев истории, из разных исторических периодов — какой-то свой шифр, ключ к происходящему именно сейчас, на наших глазах.

Серебряный век — эпоха еще более сложная, наверное, чем поздний застой и ранняя перестройка с их парадоксами. Предвоенное, предреволюционное время, время перед страшной катастрофой, когда целая страна пошла на дно.

Типы того времени, человеческие амплуа, характерные диалоги, коллизии, самые актуальные для тех лет идеи — все это рассматривать сейчас безумно интересно.

И, в общем, выясняется, что в основании всех наиболее важных течений общественной мысли, в основании всех ключевых судеб, всех поворотов истории — стоят не марксистские «средства производства» или «классы», или «интересы», а вполне себе живые страдающие люди, их конкретные обстоятельства, трагедии личной жизни.

Это стало понятно, кстати, еще по пьесе Стоппарда «Берег утопии», которую представил РАМТ усилиями Алексея Бородина.

Но и Серебряный век дает нам возможность такого же неожиданного взгляда на привычные типажи.

Андрей Максимов, автор инсценировки и режиссер, обозначил жанр как «спектакль-романс», и действительно, история про двух мужчин и одну женщину обладает всеми качествами жестокого романа, то есть лирической песни о злой судьбе и великой любви (все песни, кстати, написаны на стихи русских поэтов исполнителем одной из главных ролей актером Игорем Карташовым). История про то, как любимый некогда муж тяжело болеет и для его спасения нужны деньги, и деньги можно попросить только у влюбленного в женщину мужчины, который, к тому же, сказочный богач миллионер Палицын (актер Валерий Ярёменко). Но и отдать ему любовь за деньги невозможно, и жить после этого тоже, и смерть одного из мужчин — единственный выход из неразрешимой коллизии, ну чем вам не романс?

Вполне романс. И красивая, мягкая, умная женщина Елена Сергеевна с ее трагическими метаниями и спазмами души (актриса Марина Кондратьева) — вполне прочная для романа, для этой «песни о любви», основа.

Впрочем, слово «романс» в нынешние времена (особенно после книги Марии Степановой «Памяти памяти») приобрело совсем иной смысл — это жанр личного высказывания, которое не соотнобразится с привычными стереотипами о времени, об эпохе.

Однако довольно скоро проступает и другая основа — более жесткая, историческая. Серебряный век, как и наш «век» (названия у него еще нет, и вряд ли оно будет столь же красивым) — это век меценатов, богачей, спонсоров, как сейчас говорят. За многими благими начинаниями, будь то фильм, книга, газета, театр,

благотворительный проект — стоят большие деньги. О реальной *цене* этих денег говорят мало. Сколько стоит в человеческом, душевном смысле эта помощь — тоже молчат. Но и без этой помощи ничего бы не сдвинулось с места. Ничего не было бы возможно. Это довольно трагическая коллизия, хотя порой и мирная, и гармоничная, но иногда — ведущая к последствиям. Особенно сейчас, в эпоху обострения старых, казалось бы, забытых «партийных страстей», мучительного выбора между человеческим и политическим, тяжелых угрызений совести...

Ну и так далее.

Игнатий Петрович Калиновский (актер Игорь Карташёв) не только вылез из на деньги несостоявшегося любовника Елены Сергеевны — но даже запустил на те же деньги журнал, стал известным редактором, сделал карьеру, напечатал много прогрессивных авторов, создал в литературе целое «направление», то есть из такого, казалось бы, интимного эпизода, из влюбленности кого-то в кого-то, родилась вдруг целая «политика».

Родилась история. Родилась тема выбора и компромисса.

Я, признаюсь честно, от мелодраматического романа такой глубины не ожидал. Все о любви, о любви, а тут вдруг — такое. Деньги. Деньги на благое дело. Деньги, как бы нечестные, и в то же время — неизбежные.

Что с этим делать? Как с этим жить?

Герои спектакля как-то переживут, как-то справятся, продолжат и любить, и литераторствовать (в конце спектакля мы оставляем их именно с этими намерениями), ну а мы с вами?

Вот этот сгущающийся над нами тяжелый воздух, эта гибельность и сладкий яд компромисса — нам-то куда от него сбежать?

Только что разве — спеть романс. И заплакать от бессилия.

Summary

Marina KUDIMOVA. Absorption Fields. An extract from the novel

This novel is not about the specifics of the hydraulic engineering of the irrigation fields. “Absorption fields” here is a pervasive metaphor of the forage lands of Life. Exciting plot, immensity of the time and space, dramatic lives of the characters and original language of the writer give the readers a sense of the big Russian prose.

Alexej USTIMENKO. Barsa-Kelmes

“You’ll go and never come back” so is translated the name of the biggest island in the Aral Sea and it’s not only a metaphor. This long short story is about post-revolutionary Turkestan, about Tashkent where lives and works the protagonist — writer and dramatist, editor-in-chief of “The Turkestan Truth” Boris Lavrenev, who is trying to find out his own truth “in the skirmish of two different-coloured sides — the whites and the reds”.

Poetry

In this issue “DN” presents the jubilee collection of poems by Yourij RYASHENTSEV — the well-known poet, the author of many famous hits for the films and musicals.

As if taking up the baton of generations their works present the new authors — Irina KOLESNIKOVA, Anastasija TRIFONOVA and Roman SMIRNOV.

Gennadij PRASHKEVICH, Alexej BUROV. About the Revolution and the Knitters. Two Letters on the Same Topic

The writer G.Prashkevitch and physicist A.Burov go on meditating over “eternal questions”. In this issue they see into today’s actual problem: social revolutions, participation and role of “the ordinary people” in them and also comprehension of the notion of freedom by the modern liberalism.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«**Фаланстер**» (Малый Гнездниковский пер., 12/27)

«**Бункер**» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин Лабиринт.ру
в любом городе страны.

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЪЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



7/2021

Читайте:

Владимир Ермолаев.
Роман «Движение на закат»:

«Берега отражались в воде так ясно, что казалось, будто рыбы плавают среди ветвей. Г. представил, что это именно так и есть. Зеленое дерево и мелькающие среди его ветвей темные рыбы. А ведь под водой и вправду растут леса. Подводные растения. Среди них плавают, ползают разнообразные существа. Но это было большое дерево с листьями, похожими на листья сливы. И за ним виднелось голубое небо и белые облака. Рыбы плавали в воздухе среди облаков и листьев. А под ними проглядывало дно, и на дне — раздвоенная коряга, обросшая мхом. Вода у самого берега была бирюзовая, а подальше — синяя. Г. нашел камешек и бросил его в воду. Рыбы бросились прочь, но тут же развернулись и подплыли к тому месту, куда упал камень. “Пойдем”, – сказал отец. Он уже выключил камеру...»

Георгий Гратт.
Роман «Русский Стикс»:

«Некоторые разумные люди полагают, что как театр начинается с вешалки, так и Европа начинается с Львова или с Риги, или даже с Кракова. Может, оно и так, но любопытно знать и другое: а откуда начинается Россия? Но не с исторической, а именно с географической точки зрения. Исходя из логических размышлений, следовало бы предположить, что где началось одно, там же, верно, закончилось и другое. Но это лишь на первый и самый поверхностный взгляд...»

